

РОБЕРТ ГАМЕРЛИНГ

АСПАЗИЯ

Роберт Гамерлинг

Аспазия

«Public Domain»

1876

Гамерлинг Р.

Аспазия / Р. Гамерлинг — «Public Domain», 1876

«Жарким солнечным днем молодая, стройная женщина в сопровождении невольницы, поспешно шла через Агору в Афинах. Появление этой женщины было замечено всеми: ни один из встретившихся ей мужчин, пройдя мимо и взглянув на нее, не мог не остановиться и хоть секунду не проводить ее взглядом...»

Содержание

Часть первая	5
Глава I	5
Глава II	17
Глава III	23
Глава IV	29
Глава V	38
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Роберт Гамерлинг

Аспазия

Часть первая

Глава I

Жарким солнечным днем молодая, стройная женщина в сопровождении невольницы, поспешно шла через Агору в Афинах.

Появление этой женщины было замечено всеми: ни один из встретившихся ей мужчин, пройдя мимо и взглянув на нее, не мог не остановиться и хоть секунду не проводить ее взглядом.

Происходило это не потому, что афинянка знатного происхождения редко появлялась на улице среди простых людей, а потому, что женщина была необыкновенно красива. На лицах тех, кто при встрече смотрел на нее, останавливался и провожал взглядом, удивление выражалось всевозможным образом: некоторые улыбались, глаза седых стариков сверкали, другие бросали на красавицу сладострастный взгляд, третьи смотрели с почтением, как будто видели перед собой богиню; некоторые осматривали ее с видом знатока, еще одни – полураскрыв рот от удивления, находились и такие, что бросали на красавицу злобный взгляд, как будто красота преступление.

Появление этой женщины казалось солнечным лучом, падающим на куст роз и отражающимся в сверкающих каплях росы.

В числе людей, чье внимание было привлечено красотой незнакомки, были и двое мужчин, молча шедших рядом. Наружность обоих была спокойна, серьезна и благородна. Младший был стройным брюнетом с вьющимися волосами и гордым выражением лица, его пожилой спутник был выше, с высоким, открытым лбом. Казалось, что рядом с буйным Ахиллом идет повелительный Агамемнон.

Младший устремил изумленный взгляд на очаровательную женщину, в то время как пожилой остался совершенно спокоен и, казалось не первый раз видит красавицу. Он был так погружен в свои мысли, что его спутник подавил вопрос, вертевшийся у него на языке.

Младший поминутно бросал полный ожидания взгляд на залив. Его острые глаза увидели на самом краю горизонта корабль, которого бы еще не смог заметить никто другой. Было видно, что он умеет управлять собой, но когда он заметил далекий корабль, радость сверкнула в его глазах.

На правой стороне дороги, по которой они шли, ярко сверкала на солнце белая стена, спускавшаяся от города к самому морскому берегу. Слева возводилась такая же, она спускалась к морю, описывая большой круг, и соединялась с первой, как бы сжимая в своих объятиях гавань, вместе со всеми ее постройками.

– Если бы каждое слово, с которым я обращался к афинянам по поводу этого строительства, превратилось в камень, то она давно уже была бы закончена...

– Но действительно ли столь необходимы эти стены? – спросил старший, бросая на них оценивающий взгляд.

– Конечно, – отвечал младший, – старые стены оставляли открытой слишком большую часть гавани, теперь этот недостаток вполне исправлен. Из пепла персидской войны, город возрождается более блестящим и могущественным и достаточно сильным, чтобы заставить молчать завистливые языки и не бояться варваров.

Человек, говоривший это, был сын Ксантиппа, Алкмеонид Перикл, которого называли Олимпийцем, а спутник его был философ Анаксагор.

На дороге царствовало оживление, раздавались громкие крики погонщиков мулов, сплошными рядами двигавшихся из гавани к городу и обратно.

Когда они подходили к гавани, Перикл с видимым удовольствием оглядывался вокруг. Начатое им строительство было почти закончено: прямо перед ними расстилалась рыночная площадь, окруженная зданиями с колоннами, получившая свое название от имени строителя Гипподама – милезийца, с левой стороны величественно возвышались колонны театра, по склону живописного холма разбросаны увитые зеленью дома, а на вершине его сияло мраморное святилище Артемиды. Внизу, в долине, тянулся до самого моря ряд построек: роскошные дома, громадные склады, где помещались товары в ожидании продажи или погрузки на суда, большая товарная биржа, где торговцы выставляли свои товары и совершали сделки.

После долгих войн, давших афинянам обладание над морями, они научились торговать. Никто лучше их не знал когда и какими товарами нужно запастись; когда вывозить дерево из Фракии, папирус из Египта, какие ковры брать в Милете, когда запастись тонкими кожаными изделиями в Сикионе. Они знали куда нужно везти оливковое масло, мед, металлические изделия, глиняную посуду и, где за них можно получить лучшую цену.

Судно, замеченное Периклом, еще по дороге в Пирей, наконец вошло в гавань. Слышались звуки флейты – ей задавали на греческих кораблях ритм гребцам. На скамьях гребцов раздавалось тихое пение, сливавшееся с плеском волн, на носу корабля ярко сверкало позолоченное изваяние морской богини.

Пение и плеск моря были заглушены радостными громкими криками собравшегося в гавани народа.

Звуки флейты смолкли, перестали двигаться весла, судно остановилось. Послышался скрип канатов, звон цепей, беготня по палубе, с берега на корабль перекинули трап.

Несколько человек ожидавших судно, поднялись на борт. Через некоторое время из трюма выкатили две огромные бочки, повозки запряженные мулами уже ждали на берегу. Судно привезло деньги всего афинского союза, с острова Делос – звезды морей, в Афины, по требованию Перикла, как дань полученную с городов и островов. Мулы, предназначенные для того, чтобы везти сокровища, тронулись, сопровождаемые любопытными взглядами афинян. «На эти деньги можно превратить Афины в первый город Эллады», – думали одни. «На них можно усилить владычество Афин. Покорить Сицилию, Египет, Персию и Спарту», – считали другие. «На эти деньги можно было бы построить чудные храмы...» – мечтали третьи.

– Не созван ли сегодня народ на какое-нибудь важное собрание на холме Пникас? – спросил Перикла его спутник.

– Да, собрание будет, но не сегодня, – отвечал тот, погруженный в свои мысли. – Надеюсь, что после него в наших любимых богами Афинах начнется новая, счастливая жизнь для всех.

– Я часто слышал подобные мысли от достойного Перикла, – заметил Анаксагор, – на этот раз его решение кажется тверже, чем когда-либо...

– Я благодарю богов, что они дали возможность решиться и, надеюсь придадут мне мужества, необходимое для исполнения моих планов. Может быть тебе кажется, что в моих мечтах я захожу слишком далеко и что не следует рассчитывать на непостоянный и часто неблагодарный народ.

– Скажу тебе откровенно, – проговорил Анаксагор, – я не занимаюсь политикой, я не афинянин, я даже не эллин – я философ, моя родина – бесконечный мир.

– Но ты мудр, – сказал Перикл, – и вполне можешь обсуждать деяния государственных мужей, можешь судить, приведут они к добру или же нет. Простые люди часто ошибаются в своих приговорах, когда они касаются государственных дел, ход которых предопределен богами.

– Я много раз погружался в тайны природы и повсюду находил дух, воодушевляющий всех, но этот дух более непогрешим в деяниях и поступках, чем люди в своих приговорах...

Увлеченно беседуя, они возвращались из гавани и тут к ним подбежал раб, присланный супругой Перикла, Телезиппой. Хозяйка дома посылала удивительное известие: из имения Перикла явился утром пастух и принес с собой молодого барашка, у которого вместо двух рогов, был только один посередине.

Телезиппа женщина благочестивая, сейчас же послала за прорицателем Лампоном, чтобы он растолковал значение этого чуда. Теперь она звала супруга посмотреть на странное создание и выслушать толкование прорицателя.

Перикл отпустил раба и добродушно обратился к другу:

– Исполним желание женщины и пойдем подивиться на однорогого барана.

Мужчины нашли Телезиппу в ее покоях.

Телезиппа была высокая, стройная, начинающая полнеть женщина, с несколько суровыми чертами лица. Эта женщина, супруга великого Перикла, была прежде женой Гиппоникоса, который развелся с ней, в то время, когда она еще была молода и ее цветущее лицо заставляло примиряться с ее холодными, суровыми глазами.

Увидев мужа и Анаксагора, она сделала вид, что хочет уйти, но Перикл знаком показал ей, что она должна остаться.

– Я послала за прорицателем Лампоном, боюсь, что это дурное предзнаменование... – сказала она мужу, не достаивая гостя и взглядом.

В эту минуту открылась одна из дверей и в комнату вошел прорицатель.

Лампон был жрецом маленького храма Диониса. Он занимался предсказаниями и довольно счастливо, так, что даже приобрел некоторую славу.

– Это необыкновенное животное, – сказала Телезиппа, обращаясь к Лампону, – родилось у нас в имении и сегодня утром принесено в город. Ты самый мудрый из всех предсказателей, объясни нам это чудо, что оно нам пророчит: хорошее или дурное?

Лампон приказал положить барашка на жертвенник покровителя стад Зевса. Угли еще тлели на жертвеннике, Лампон вырвал одну шерстинку со лба барашка и бросил в пламя.

– Это хорошее предзнаменование, – сказал он, – волос сгорел без треска.

Затем он обратил взгляд на Перикла и на его положение относительно барашка. Перикл стоял как раз напротив.

– Это предзнаменование благоприятно для Перикла, – продолжал он с многозначительным видом и, взяв в рот лавровый лист, разжевал его, в знак того, что боги внушают ему истину. Глаза прорицателя начали расширяться. Вдруг барашек повернул голову в сторону, так, что рог посередине указывал прямо на Перикла, и испустил какой-то особенный звук.

– Счастье тебе, Алкмеонид, сын Ксантиппа, победитель персов при Микале, благородный отпрыск священных хранителей палладиума! Счастье тебе победитель при Фокисе! Прежде у афинского барана было два рога: предводитель партии олигархов, Фукидид и Перикл, предводитель партии народного правления, в будущем же афинский баран будет иметь на своем лбу только один рог – партия олигархов устранена и один Перикл мудро управляет судьбой афинян.

Анаксагор снисходительно улыбнулся. Перикл отвел своего друга в сторону и тихо сказал:

– Этот человек очень хитер, он добивался чести быть принятым в число прорицателей, которые сопровождали меня в последнем походе.

– А что же делать с бараном? – спросила Телезиппа.

– Его следует откормить как можно лучше, а затем принести в жертву Дионису.

Таково было решение прорицателя. Он получил три обولا в качестве вознаграждения за труд, поклонился и вышел.

– Телезиппа, – сказал Анаксагор, – как дорого платят в нынешние времена за предсказания, дают три обола за то, чтобы выслушать вещи, известные всем Афинам...

Телезиппа бросила на Анаксагора гневный взгляд, который тот встретил с ясным спокойствием. Телезиппа хотела было сделать резкое замечание, но послышался стук в дверь, и вошла женщина в сопровождении рабыни, остановившейся у дверей.

У этой женщины румяна и белила покрывали морщины старого, как залежавшееся яблоко лица, довольно густой пушок покрывал верхнюю губу.

– Эльпиника, сестра Кимона, – сказал Перикл на ухо Анаксагору. – Идем, раз сошлись эти две женщины, нам опасно оставаться в доме...

Дочь прославленного героя Мильтиада, сестра известного полководца Кимона и подруга лучшего из всех эллинских художников того времени, Полигнота, Эльпиника была странной женщиной. Некогда она была хороша собой, достаточно хороша, чтобы пленить любящего изящного художника, но должно быть разгневала Афродиту: по злому капризу богини, в ее душе не было места ни для одного нежного чувства кроме любви к брату. В ее душе не было ни малейшего стремления к супружескому счастью. Она желала одного: всю жизнь не расставаться с братом.

После осады и покорения острова Фазоса, Кимон привез с собою в Афины одного фазосца, это был Полигнот. Кимон заметил дарование юноши и с его помощью Полигнот получил заказ от афинян украсить картинами храм Тезея. Кроме того, на Агоре ему было заказано нарисовать сцены из истории покорения Трои.

Постоянно бывая в доме своего друга и покровителя, Кимона, юноша воспылал любовью к Эльпинике, и когда были окончены картины из истории осады Трои, то лицо Кассандры и прекраснейшей из дочерей Приама, Лаодикеи, имели черты сестры Кимона. Эльпиника не осталась неблагодарной к этому поклонению, правда, она отказала художнику в руке и сердце, но подарила ему свою дружбу. С тех пор прошло много лет, но дружба между художником и Эльпиникой продолжалась после того, как умер Кимон, а Эльпиника и Полигнот состарились. Да, Эльпиника состарилась, сама не подозревая об этом, все еще воображая себя такой, какой ее изобразил на картине Полигнот.

Брат Эльпиники Кимон незадолго до своей смерти был изгнан из Афин; его друзья старались выхлопотать для него дозволение возвратиться на родину, но боялись влияния тогда еще юного Перикла, звезда которого поднималась в то время и который только мог бы выиграть от отсутствия соперника. Тогда Эльпиника составила смелый план, чтобы устроить счастье своего брата. Она подрумянилась, приделась и отправилась к Периклу, зная, что великий человек равнодушен к женским прелестям. Она хотела явиться перед ним во всеоружии женской красоты, которая очаровала и воодушевила Полигнота, она рассчитывала упротить Перикла не выступать против возвращения брата в народном собрании.

Увидев перед собой странную, разодетую, раскрашенную женщину, Перикл понял, что она намерена завоевать его сердце и знает о его чувствительности к женскому полу и был недоволен, что несмотря на его серьезное, полное достоинства поведение о нем ходили подобные слухи. Перикл был снисходителен от природы, но мысль, что эта разодетая старуха с усами считала столь легким делом очаровать его, на мгновение превратила деликатного человека в грубияна: несколько минут он молча рассматривал ее наряд, затем спокойно сказал:

– Эльпиника, а ты состарилась...

Эльпиника вздрогнула, бросила раздраженный взгляд на Перикла и молча удалилась.

Тайный ужас охватил его самого при этих словах, потому что произнес их самый добрый из всех эллинов. Поэтому в народном собрании на Пниксе, он попытался исправить положение: когда было вынесено предложение о возвращении Кимона и все глядя на Перикла ждали, что он возразит, он молчал и глядел вверх, как будто происходящее его не интересовало. Благодаря этому приверженцы Кимона выиграли дело, а афиняне смеялись и, подмигивая, говорили:

– Кто бы мог подумать, что Эльпинике удастся... Любитель женщин не мог устоять, чтобы не попробовать и этого перезрелого плода!

Бедный Перикл!

После смерти Кимона, Эльпиника злилась на весь свет за то, что он может существовать без Кимона и стала еще больше ненавидеть Перикла.

В последнее время своей жизни Кимон даже перестал скрывать свои симпатии к Спарте, поэтому никто не удивлялся, что его сестра так же выказывает к ней свою привязанность. Она постоянно усердно служила своей партии, наблюдая за жизнью противников. Она дружила с женами тех людей, которых более всего ненавидела, в том числе и с Телезиппой, супругой Перикла.

Такова была женщина, от которой Перикл и его друг Анаксагор так поспешно обратились в бегство, когда она явилась посетить свою подругу.

– Телезиппа, ты сегодня бледнее чем обыкновенно, что это значит? – спросила всплескивая руками Эльпиника.

– Может быть от страха, – отвечала Телезиппа, – у нас сегодня случилось в доме чудо. Утром наш пастух принес барашка с одним рогом!

– Барашек с одним рогом?! – воскликнула Телезиппа. – клянусь Артемидой, я нынче не удивляюсь чудесам. В Брилезе прошлой ночью упал с неба большой метеорит, некоторые говорят, что видели звезду с хвостом. Недавно ворон уселся на позолоченную фигуру Афины-Паллады в Дельфах... Но, что всего удивительней, у одной жрицы в Орхомене выросла большая борода... Надеюсь вы посылали за прорицателем?

– За Лампоном, – отвечала Телезиппа.

– Лампон хороший толкователь, – согласилась Эльпиника, одобрительно улыбаясь, – он лучший из всех. Ну и как он объяснил это чудо?

– Он объяснил, что однорог указывает на владычество Перикла над афинянами... – отвечала Телезиппа.

– Мой брат Кимон, – сказала она напыщенно, – обращал большое внимание на божественные указания и однажды двенадцать дней подряд приказывал закалывать барана, пока предсказание не оказалось благоприятным, только тогда напал он на врагов. Отправляясь на войну он всегда брал с собою прорицателей и перед отправлением говорил им: «прорицатели делайте то, что обязаны, но не льстите мне, никогда не толкуйте божественные указания так, чтобы понравиться». А нынешние любят, когда им льстят и прорицатели очень хорошо знают, кто желает слышать истину, а кто нет...

Я тебе не рассказала еще самого главного, – прервала ее Телезиппа. – Прежде здесь шла хотя и бедная, но мирная жизнь. Все изменилось с тех пор, как Перикл взял к себе в дом Алквиада, сироту, сына Кления, чтобы воспитывать его вместе со своими сыновьями. Теперь у нас в доме нет спасения от ребят – они все портят и ломают, суются всюду, куда только можно, смеются над рабынями, бьют рабов. Стоит мне захотеть наказать их, как они с быстротой молнии разбегаются и прячутся от меня, а Перикл, если я ему жалуюсь, смеется и всегда защищает Алквиада.

Они еще долго болтали, осуждая нынешние нравы, пока не пришли с рынка рабы и Телезиппа не пошла смотреть купленные для обеда припасы.

Оливковые кусты доходили до самой дороги и прохладный ветерок, дувший с залива, мягко шелестел их листьями. Фидий снял с головы шляпу с большими полями, открывая высокий, голый череп, на котором выступили крупные капли пота.

На мраморной плите одного из памятников, стоявшего рядом с дорогой, сидели двое и оживленно разговаривали. На лице одного выражалось спокойное достоинство мудреца, черты другого были резки, а в глазах светилось фанатическое упорство. Проходившие мимо Перикл и Фидий, поклонились ему с ласковой улыбкой, на которую тот отвечал враждебным взглядом.

Дальше, посреди дороги стоял в глубокой задумчивости молодой человек, казалось он забыл весь окружающий его мир и думал о том, где бы найти новый. У него были довольно приятные, но странные черты лица, взгляд был устремлен в землю.

– Это один из моих учеников, – сказал Фидий, ударяя по плечу задумавшегося молодого человека, чтобы обратить на себя его внимание, – хороший, но удивительный юноша: один день он работает усердно, а на следующий исчезает не известно куда. Стоять так, погруженным в задумчивость, его любимое занятие.

Недалеко от этого юноши лежал на земле калека-нищий, с неприятным, злым выражением лица. Сострадательный Перикл бросил ему монету, но нищий в ответ, казалось, пробормотал какую-то брань. На следующем повороте дороги их взорам открылся Акрополь и изображение Афины-Паллады ярко засверкало в лучах вечернего солнца. Ясно была видна ее покрытая шлемом голова, поднятое копьё и большой щит, на который она опиралась левой рукой. На склоне горы сверкала ослепительным блеском золотая голова Горгоны, помещенная туда одним богатым афинянином.

С этой минуты, скульптор, оживился, не спуская взгляда с Акрополя, тогда как Перикл лениво следовал за ним; казалось, что изображение богини странно возбуждало Фидия.

Теперь, когда перед ним появился Акрополь, он весь преобразился и с таким выражением глядел на сверкающую вершину горы, что Перикл спросил:

– Скажи, почему ты так странно и задумчиво смотришь на вершину Акрополя, или тебя так волнует вид твоей богини?

– Знаешь, – ответил Фидий, – потрясающая копьём богиня с некоторого времени заменилась в моей душе образом Афины-Паллады мира, которая уже не сражается, а успокоившись, с победоносным видом своим сверкающим щитом с головой Горгоны превращает в камень тайных злодеев. Когда я теперь смотрю на вершину Акрополя, то вижу там, воздвигнутый в моем воображении новый образ, и мысленно строю там роскошный храм... Но не бойся, Перикл, я не стану просить у тебя золота для этой Афины-Паллады мира и мрамора для ее храма, нет я строю и ваяю только в воображении.

– Таковы вы все скульпторы и поэты, – сказал Перикл, почти оскорбленный насмешливыми словами друга, – вы забываете, что прежде всего надо думать о благоденствии народа, что искусство может развиваться только в богатом, могущественном государстве.

Фидий был уязвлен и бросил мрачный взгляд на Перикла, но тот встретил его взгляд примирительной улыбкой и продолжал, взяв друга за руку:

– Неужели ты знаешь меня так мало, что можешь серьезно считать врагом божественного искусства ваяния и всего прекрасного?

– Я знаю, что ты покровитель всего прекрасного, один взгляд прекрасной Хризиллы... – саркастически улыбнулся Фидий.

– Не одно это, – поспешно перебил Перикл и продолжал более серьезным тоном, – поверь мне, друг, что когда заботы подавляют меня, когда меня раздражают всевозможные препятствия, когда огорченный я возвращаюсь из собрания и задумчиво иду по улице, часто встречающееся красивое здание или прекрасная статуя в состоянии успокоить меня до такой степени, что я забываю даже, что был огорчен!

В это время друзья прошли через городские ворота, тут улицы были уже, дома менее красивы, но это были настоящие Афины, это была священная земля.

Подойдя к своему дому, Фидий сказал:

– Зайди ко мне ненадолго, может быть тебе удастся разрешить один наш спор.

– Какой же? – спросил Перикл.

– Ты, вероятно, помнишь кусок мрамора, привезенный персами из-за моря, чтобы после победы создать из него памятник для увековечения своей победы над Элладой, и который, когда варвары были побиты и бежали, остался у нас в руках на поле Марафонской битвы; после

многих странствований красивый камень попал в мою мастерскую, и, как тебе известно, афиняне решили изваять из него богиню Киприду, чтобы украсить городской сад. Самым достойным из моих учеников я считаю Агоракрита, из Пароса и поэтому, я предоставил ему мрамор, он сотворил прекрасное произведение искусства, но другой из моих лучших учеников, честолюбивый Алкаменес, завидуя будущей славе Агоракрита, решился вступить в соревнование с Агоракритом и также изваял статую той же самой богини. Теперь статуи обоих юношей окончены и сегодня у меня в доме собирается немало ценителей искусства; если ты пойдешь, то увидишь как различны эти статуи.

В мастерской возвышались рядом две закрытые мраморные фигуры. По знаку Фидия, невольник снял покрывало и два произведения искусства представились взорам собравшихся, которые долго, не говоря ни слова, глядели на статуи. На лицах выражалось странное недоумение, причиной которого, по всей вероятности, было значительное их отличие друг от друга.

Одна – представляла женскую фигуру замечательной красоты и благородства. Она была в платье, которое крупными складками спускалось до земли, только грудь была открытой. Фигура имела строгий вид, ничего мягкого в чертах лица, ничего слишком роскошного в сложении, и, между тем, она была прекрасна, это была резкая, суровая, но, вместе с тем, юношеская красота – это была Афродита, без цветов, которыми украсили ее позднее оры, хариты и лесные нимфы. Она еще не была окружена благоуханием, она еще не улыбалась.

Пока ценители рассматривали только это изображение, оно казалось безупречным. В душе эллинов до тех пор еще не было образа Киприды, окруженной грезами и богами любви. Образ, стоявший перед ними, был идеалом, унаследованным ими от отцов. Но как только судьи обращались к произведению Алкаменеса, их охватывало какое-то беспокойство и они как будто теряли способность к верной оценке.

То, что представлялось взорам знатоков в произведении Алкаменеса, было нечто новое, и они еще не могли сказать нравится ли им это новое, они еще не знали имеет ли оно право нравиться, несомненно было только то, что первое изваяние рядом с этим, нравилось не меньше, и чем чаще взгляд переходил со скульптуры Алкаменеса на скульптуру Агоракрита, тем дольше останавливался он на первой. Что-то приковывало к ней взгляд, какое-то тайное очарование, что-то свежее и живое, до сих пор еще не выходившее из-под резца.

Никто из присутствующих не смотрел более внимательно на произведение Алкаменеса, чем Перикл.

– Эта статуя, – сказал он наконец, – почти напоминает мне произведение Пигмалиона, она также будто бы готова ожить.

– Да, – согласился один из гостей Фидия, – произведение Агоракрита вдохновлено духом Фидия, тогда как в создании Алкаменеса мне кажется, есть искра из постороннего очага, искра, придающая ему странную жизнь.

– Послушай, Алкаменес, – спросил Перикл, – скажи нам, какой новый дух вселился в тебя, так как до сих пор твои произведения по своему характеру почти не отличались от произведений Агоракрита, или ты может быть видел богиню во сне? Твоя статуя приводит меня в такой восторг, какого не вызывал во мне еще ни один кусок мрамора.

Алкаменес улыбнулся, а Фидий, как будто пораженный неожиданной мыслью, пристально глядел на произведение Алкаменеса, как бы разбирая мысленно каждую черту, каждую округлость.

– Чем более смотрю я на эту стройную фигуру, – сказал, наконец, он, – на эту безукоризненную грудь, на тонкость этих пальцев, тем более убеждаюсь, что эта статуя напоминает мне одну женщину, которую мы в последнее время раза два видели в этом доме...

– Это если не лицо, то во всяком случае фигура милезианки! – вскричал один из учеников Фидия, подходя ближе.

– Кто эта милезианка? – поспешно спросил Перикл.

– Кто она?.. – повторил Алкаменес, – она солнечный луч, капля росы, прелестная женщина, роза, освежающий эфир... Кто станет спрашивать солнечный луч об имени и происхождении!.. Может быть Гиппоникос скажет о ней что-нибудь определенное, так как она гостит у него в доме.

– Да, она живет в маленьком домике, принадлежащем Гиппоникосу, – подтвердил Фидий, – он находится между его и моим домом, и, с некоторого времени, ученик, которого мы с тобой встретили в задумчивости на улице, сделался еще задумчивее; а Алкаменеса я очень часто встречаю на крыше дома, с которой можно заглянуть в перистил соседнего дома и куда мои ученики поминутно ходят под всевозможными предлогами для того, чтобы послушать игру милезианки на лире.

– Итак, наш Алкаменес подсмотрел прелести этой очаровательницы, которыми мы восхищаемся здесь, в мраморе? – спросил Перикл.

– Как это случилось, я не могу сказать, – развел руками Фидий, – очень может быть, что ему помог наш друг.

Задумчивый, так как я несколько раз видел его разговаривающим с прекрасной милезианкой, может быть, он предоставил Алкаменесу тайное свидание с нею, по-видимому он предполагает, что может научиться от прелестных женщин большему, чем от учителей.

– То, что вы здесь видите, – вскричал Алкаменес, вспыхнув от насмешливых слов Фидия, – есть произведение моих рук, порицание, которых оно заслуживает, я беру на себя, но не хочу также делить ни с кем похвалы.

– Ну, нет! – мрачно заявил Агоракрит, – ты должен разделить их с милезианкой, она тайно прокрадывалась к тебе!..

Яркая краска выступила на щеках Алкаменеса.

– А ты!.. – возмущенно сказал он. – Кто прокрадывался к тебе? Или ты думаешь мы этого не замечали? Сам Фидий, наш учитель, прокрадывался по ночам в твою мастерскую, чтобы закончить произведение своего любимца...

Теперь пришла очередь Фидия покраснеть. Он бросил гневный взгляд на дерзкого ученика и хотел что-то возразить, но Перикл стал между ними и примирительным тоном сказал:

– Не ссорьтесь, к Алкаменесу прокрадывалась милезианка, к Агоракриту – Фидий, каждый должен учиться там, где может и как может и не завидовать другому.

– Я не стыжусь учиться у Фидия, – сказал Алкаменес, оправившийся первым, – но всякий умный скульптор должен заимствовать у действительности все прекрасное.

Многие из присутствующих присоединились к мнению Алкаменеса и считали его счастливым, что он смог найти такую женщину, как эта милезианка, которая была к нему так снисходительна.

– Снисходительна, – сказал Алкаменес, – я не знаю, что вы хотите этим сказать, снисходительность этой женщины имеет свои границы. Спросите об этом нашего друга, Задумчивого.

Говоря так Алкаменес указал на юношу, которого Перикл с Фидием встретили на дороге и входившего в эту минуту в мастерскую.

– Однако, мы отвлекаемся от нашего предмета, – заметил Фидий; – Алкаменес и Агоракрит все еще ожидают нашего приговора, а в настоящее время мы, похоже сошлись только в том, что Агоракрит создал богиню, а Алкаменес – прекрасную женщину.

– Ну, – сказал Перикл, – я положительно стою на том, что не только наш Алкаменес, но и Агоракрит, как ни кажется его произведение более божественным, одинаково раздражили бы бессмертных, если бы они глядели на их произведения глазами Фидия, так как божественные изображения обоих одинаково имеют в себе много земного. Все вы, скульпторы, одинаковы в том отношении, что предполагая создавать образы богов, в сущности создаете идеальные человеческие образы, но, мне кажется, что в этом случае, нам следовало бы обратиться ко вто-

рому ученику прелестной милезианки, вашему Задумчивому, который также должен произнести свой приговор. Но как нам заполучить милезианку?

– Это нетрудно сделать, – откликнулся Задумчивый, – нетрудно заставить войти человека, который уже стоит у дверей.

– Так милезианка здесь, – изумился Перикл.

– Когда я возвращался с прогулки, – отвечал Задумчивый, – и проходил мимо сада Гиппоникоса, я увидел сквозь ветви прекрасную милезианку, срывающую ветвь с лаврового дерева. Я спросил ее, какому герою, мудрецу или артисту предназначается это украшение? Она отвечала, что тому из учеников Фидия, который окажется победителем в состязании.

– В таком случае, если ты хочешь сделать безграничным счастье победителя, – сказал я, – то постарайся как-нибудь утешить побежденного.

– Хорошо, – отвечала она, – я сорву для него розу.

– Розу!.. – удивился я, не думаешь ли ты, что победитель будет завидовать побежденному?

– Но тогда пусть победитель выбирает! – воскликнула она... – Вот, возьми лавр и розу и передай их.

– Разве ты не хочешь сама отдать их? – спросил я.

– Разве это возможно? – спросила она.

– Конечно.

– Ну если так, то пришли мне победителя и побежденного сюда, к садовой калитке дома Гиппоникоса за ветвью лавра и розой.

– Хорошо, – сказал Фидий, – в таком случае, иди и приведи ее сюда.

– Как я могу это сделать, как можно заставить ее прийти в общество мужчин?

– Как хочешь, но только приведи ее. Этого желает Перикл.

Задумчивый повиновался и, через несколько минут возвратился в сопровождении женщины, в которой чудно соединялась благородная простота и роскошь форм статуи Алкаменеса.

Она была стройна и в то же время фигура ее была роскошна, походка тверда и вместе с тем грациозна. Мягкие, вьющиеся волосы были с золотистым оттенком, все лицо было невыразимо прекрасно, но лучше всего был блеск ее чудных глаз.

Ее платье из желтого, мягкого виссона, очень шло ей. Спереди оно было укреплено на груди красивым аграфом, одна половина верхней полы, перекинутая через плечо, спускалась сзади красивыми складками. Красивые руки открывались до плеч. Это был обыкновенный хитон греческих женщин, но яркий и пестрый, как у ионийских или лидийских женщин.

Когда эта очаровательная женщина вошла в сопровождении Задумчивого и очутилась в мужском обществе, где находился сам могущественный Перикл, она остановилась как бы в нерешительности, но Алкаменес вышел ей навстречу, взял за руку и сказал:

– Олимпиец Перикл желает видеть прекрасную и мудрую милезианку.

– Как ни велико мое желание видеть всеми уважаемую женщину, – сказал Перикл, – прежде всего я хочу разрешить спор между Агоракритом и тобою Алкаменес. Между нами возникли разногласия о том, можно ли представить богиню в образе прекрасной эллинской женщины, и о том, приятно ли богам наше искусство ваяния? И нам хотелось бы услышать ответ прекрасной женщины.

– Какова страна – таковы и храмы, каков человек – таковы и его боги! Разве сами Олимпийцы не доказывали много раз, что для них доставляет удовольствие смотреться, как в зеркало, в души афинян? Разве не они вдохнули в людей искусство ваяния? Разве не они дали Аттике лучшую глину и самый лучший мрамор для построек и для статуй? – ответила вопросом на вопрос прекрасная милезианка.

– Действительно, – вскричал Алкаменес, – мы имеем все, кроме достойного поля деятельности! Я и мои товарищи, продолжал он, указывая на остальных учеников, – уже давно стремимся работать, резец в наших руках горит от нетерпения!

Возгласы одобрения раздались в мастерской Фидия.

– Успокойся, Алкаменес, – сказала милезианка с особенным ударением на словах, – Афины разбогатели, страшно разбогатели. Не зря же привезли сокровище Делоса!

При этих словах красавица чарующим взглядом поглядела на Перикла, который в это время говорил себе:

«Клянусь богами, волосы этой женщины самое золотое сокровище Делоса, за них не жалко отдать все делосское золото».

Затем он несколько времени задумчиво стоял, опустив голову, тогда как взгляды всех были устремлены на него. Наконец он сказал:

– Вы, друзья и покровители искусства, вполне справедливо ожидаете, что делосское сокровище не напрасно привезено сюда и если бы не множество настоятельных нужд, то я с большим удовольствием, перевез бы сокровище из Пиреи прямо в мастерскую Фидия, но выслушайте, каковым представляется положение дела для того, кто должен думать и заботиться о необходимом. Когда персы явились в нашу страну, то общая опасность соединила всех эллинов, а когда опасность миновала, я надеялся, что это единство сохранится. Следуя моему совету, афиняне пригласили в Афины представителей остальных эллинов, чтобы вместе обсудить дела Греции. Я хотел добиться того, чтобы общими средствами были снова восстановлены храмы и святилища, разрушенные и сожженные персами, за то эллины могли бы свободно и в безопасности плавать по всем морям Эллады, подходить ко всем Эллинским берегам. Мы выбрали из народа двадцать человек, которые принимали участие в битвах с персами и какой же ответ привезли эти посланники. Уклончивые отсюда, и отказы оттуда! Но больше всех посеять недоверие против Афин старалась Спарта. Таким образом, попытка афинян не удалась, нам не следовало, рассчитывать на помощь других эллинов и мы убедились, что зависть наших соперников не уменьшилась. Если бы мой план удался, то Афины и вся Эллада могли бы спокойно наслаждаться миром и занятиям искусствами, но так как наш первый долг стремиться приобрести большее значение и влияние в Элладе, то мы должны как можно больше беречь имеющиеся у нас средства, сколько бы их ни было в данную минуту.

Судите сами, можем ли мы, хоть на мгновение, упустить из виду ту роль, которую должны играть Афины и употребить имеющееся у нас сокровище на поддержание искусств, на прекрасное и приятное, а не на полезное?

Мужчины слушали Перикла молча и, как он мог заметить, но не без несогласия, поэтому он продолжал:

– Решите сами или предоставьте дать ответ Задумчивому или, спросите эту красавицу из Милета.

– Что касается нас, женщин, – улыбаясь отвечала милезианка, – то мы можем достигнуть известности единственно благодаря искусству хорошо одеваться, красиво танцевать и прекрасно играть на цитре.

– Итак, относительно женщин вопрос решен, – сказал Перикл, – но могут ли народы приобрести значение только роскошными нарядами, умением танцевать или прекрасной игрой на цитре?

– Отчего же нет? – возразила милезианка.

Эти смелые слова смутили мужчин, но красавица продолжала:

– Но только, вместо того, чтобы красиво одеваться и играть на цитре, вы можете стараться быть первыми скульпторами, художниками и поэтами.

– Ты шутишь? – сказали некоторые из мужчин.

– Вовсе нет, – улыбаясь, возразила красавица.

– Если посмотреть внимательнее, – поддержал ее Гипподам, – то, мне кажется, что в словах прекрасной милезианки, заставивших нас в первую минуту улыбнуться, есть доля правды. Действительно, если красота так высоко ценится во всем мире, то почему не может народ приобрести славу, всеобщее уважение, любовь и безграничное влияние, благодаря прекрасному, как и красивая женщина?

– Но если люди будут заботиться только об одном прекрасном, – возразил Перикл, – то они могут сделаться слабыми и женственными.

– Слабыми и женственными! – воскликнула милезианка. – Вы, афиняне, слишком слабы и женственны! Разве нет между вами таких кто живет так же грубо, как спартанцы? Прекрасное не портит людей, прекрасное делает людей веселее. Пусть мрачные и грубые спартанцы заставляют ненавидеть себя! Афины, благоухающие и украшенные цветами, как невеста, будут приобретать себе сердца любовью.

– В таком случае, – сказал Перикл, – ты думаешь, что пришло уже время, когда мы должны отложить меч и заняться мирными искусствами?

– О, Перикл! – воскликнула милезианка. – Позволь мне сказать, когда, по моему мнению, придет время заняться прекрасным.

– Говори, – отвечал Перикл.

– Время совершать великое и прекрасное приходит, по моему мнению, тогда, когда есть люди призванные совершать то и другое. Теперь вы имеете Фидия и других мастеров, неужели вы станете колебаться осуществить их идеи до тех пор, пока они не состарятся в бездействии? Легко найти золото, чтобы заплатить за прекрасное, но не всегда можно найти людей, способных создать его!

Эти слова были встречены возгласами всеобщего одобрения.

Периклу была известна сила слова. Его глаза засверкали, и он про себя повторил слова милезианки: «Время совершать прекрасное приходит тогда, когда есть люди, которые в состоянии его совершить!»

– Я должен сказать, – проговорил он, что слова этой женщины просветили нас. Никто не смог бы лучше выразить того, что лежит у нас всех на сердце. Я полагаю, что мы должны постараться сохранить наши Афины столь же способными к войне и могущественными, как сейчас, но ты права, прекрасная чужестранка, мы не можем долее колебаться, необходимо сделать то, чему пришло время. Ты вполне справедливо говоришь, что мы имеем людей, каких может быть никогда более не будет. Ты должен быть благодарен этой красавице, Фидий, она уничтожила все мои колебания. Уже немало сделано для украшения наших Афин: перестроена заново гавань, средняя стена почти окончена; строится гимназиум... Воздвигнув роскошный храм и прекрасные статуи, мы увенчаем дело обновления, начатое в Пирее.

Эти слова Перикла были встречены всеобщим одобрением.

– Но вернемся к спору Алкаменеса и Агоракрита, – продолжал Перикл, – какой из двух Афродит отдаст преимущество прекрасная чужестранка?

– Эту статую, – сказала милезианка, бросив взгляд на создание Агоракрита, – я приняла бы скорее за какую-нибудь суровую богиню, например, за Немезиду...

– Немезиду, – повторил Перикл, – действительно, сравнение очень удачно. Немезида – суровая, гордая богиня, которая всегда мстит за оскорбления, и в этом произведении Агоракрита, мне кажется, много свойственных ей черт. Красота этой богини – ужасная и угрожающая. Если афиняне желают поставить у себя в саду изображение Афродиты, то мы также можем с позволения Агоракрита поместить эту статую Немезиды в храме богини в Рамносе. Думаю, ваятелю будет легко прибавить к своему произведению соответствующие символы.

– Я сделаю это, – мрачно проговорил Агоракрит, – моя Киприда станет Немезидой...

– Кому же, прекрасная незнакомка, – сказал Перикл, – кому же отдашь ты лавровую ветвь, а кому розу?

– И то и другое – тебе, – отвечала милезианка. – Из них, никто не стал ни победителем, ни побежденным. Мне кажется, что все венки должны быть присуждены человеку, открывшему путь к приобретению благороднейшей награды.

Говоря это, она подала лавровую ветвь и розу Периклу. Взгляды их встретились.

– Я разделю лавровую ветвь между обоими юношами, – сказал Перикл, – а прекрасную розу сохраню для себя.

Он разломил ветку лавра на две части и вручил скульпторам, затем сказал:

– Я надеюсь, что здесь не осталось недовольных? Только Задумчивый стоит в каком-то беспокойстве и с серьезным видом глядит перед собою: скажи нам, чем ты озабочен, друг мудрости?

– Прекрасная милезианка, – ответил юноша, – доказала нам, что прекрасное может доставить народу преимущество перед всеми другими, но я хотел бы знать, также ли легко достигнуть этого благодаря добру и внутреннему совершенству?..

– Я думаю, – сказала милезианка, – что добро и прекрасное одно и то же.

Вскоре гости Фидия начали расходиться. Прощаясь с милезианкой, Перикл спросил как ее зовут.

– Аспазия, – ответила она.

– Аспазия, – повторил Перикл. – Какое имя. Оно тает как поцелуй на губах.

Глава II

Перикл не мог заснуть после визита к Фидию. Его тревожила мысль о делосском сокровище, которое должно стать основанием для нового могущества и счастья Афин. Если же он на минуту забывался сном, то видел перед собою очаровательный образ милезианки и блеск ее прекрасных глаз проникал в его душу. Многое из того, что он обдумывал уже давно, в эту ночь было окончательно решено.

И теперь после бессонной ночи, направляясь на холм Пникса – место собраний афинского народа, – вместе с Анаксагором, Перикл был заметно возбужден.

– Я должен говорить сегодня с народом о важных вещах и я боюсь, что не смогу убедить афинян, – говорил он.

– Ты опытный стратег, – постарался успокоить друга философ. – Ты великий оратор, которого называют олимпийцем – так как гром твоих речей имеет что-то божественное, как гром Зевса – и ты боишься?!

– Да, боюсь, – кивнул головой Перикл, – Фидий склоняет меня взяться за грандиознейший план. Афины должны украситься произведениями, которые прославятся на всю Элладу.

– Разве афинский народ не любит искусства? – удивленно спросил Анаксагор.

– Я боюсь недоверия, – проговорил Перикл, – которое сеют мои тайные и открытые противники – олигархия не совсем подавлена... – Ты знаешь, что у нас немало врагов всего светлого и прекрасного, ты испытал это на себе, когда выступаешь на Агоре, чтобы проповедывать афинянам чистые истины. Но надеюсь, что за сегодняшний мой план будет большинство, ибо у нас много бедных граждан, живущих трудами рук своих, которые завтра будут голодать, если сегодня не получат работы – будет вполне справедливо, если они возьмут свою часть из богатства Афин. Народ должен наслаждаться плодами своей победы, он должен быть свободен и счастлив.

Друзья шли по улице, которая вела мимо театра Диониса, к подножию Акрополя, затем повернули на дорогу, огибавшую западный склон Акрополя и ведущую на Агору.

Агора, этот центр афинской жизни, окружена знаменитыми афинскими холмами: с полуденной стороны возвышаются обрывистые скалы Ареопага и Акрополя, с запада – холм Нимф, на котором, помещается знаменитая возвышенность Пникса. С полуночной стороны виднеется холм, на котором стоит храм Тезея и, наконец, на северо-востоке – возвышенность известного Колопса.

Эти славные, священные вершины как будто глядят на Агору. Среди них помещался жертвенник двенадцати первых олимпийских богов, здесь же возвышались изображения десяти мифических героев Аттики, напротив которых были статуи девяти архонтов. Здесь же было место собрания совета пятисот.

На Агоре множество красивых храмов и других богатых и изящных построек. Под навесами, защищенными от дождя и солнца, помещается бесконечное множество лавок со всевозможными товарами. Не только афиняне, но и все их соседи присылают на афинский рынок все, что у них есть лучшего. Благовонья везут из Мегары, дичь и морские продукты доставляет Беотия. Тот, кто не любит готовить дома, может здесь же, на месте, удовлетворить все свои желания. Судя по запаху, даже жареный осел, приготовленный здесь, должен быть вкусен. Продавец употребляет все свое красноречие, чтобы доказать, что его мясо самое питательное из всех, что оно настоящая пища атлетов. Если не желаешь попробовать мяса, которого отведали бы с удовольствием сами олимпийцы и хочешь полакомиться более тонкими блюдами или желаешь насладиться чудными благовониями, то стоит только мигнуть стройной продавщице венков или краснощекому мальчику. Афиняне невероятно любят венки, которые сопровождают их от материнской колыбели до могилы. Они украшают цветами не только голову, но и все тело.

Любой работник надевает венки, исполняя свои обязанности; оратор делает тоже самое, собираясь говорить на Пниксе, перед собранием всего народа. Афиняне вяжут свои венки из мирт, из роз, из плюща, но более всего любят они фиалки.

А вот и посудный рынок, эта гордость афинян; недаром город с незапамятных времен славится своей посудой, которую корабли развозят по всему свету. Афиняне употребляют в дело свою благословенную глину и аттический мрамор с одинаково изящным вкусом. Все, начиная от крошечного, плоского, без ножек фиала и до громадной вазы, вмещающей в себя сто ведер вина, сделано с одинаковым изяществом; амфоры с широкими отверстиями и двумя ручками, крошечные сосудики с узкой шейкой, из которой жидкость вытекает только по каплям, громадные кувшины всевозможных фасонов, разнообразные бокалы – все одинаково красиво, нет ни одной вещи, которая была бы безобразна. Даже посуда для ежедневного употребления, даже те сосуды, в которых греки держат свое вино, мед и масло – прекрасны.

Затем следует место, где можно увидеть иностранные ткани и вещи: мегарские плащи, афиссалийские шляпы, сикионийские башмаки находят много охотников и покупателей.

В другом – разложены свитки. Можно развернуть длинные листы исписанного папируса, украшенного на обоих концах застёжками из слоновой кости и перевязанного красными или желтыми пергаментными полосами. Но крики продавцов и рыночная суматоха слишком велики для того, чтобы можно было погрузиться в книжную мудрость.

Продавец угольев и торговец лентами вылезают из кожи, расхваливая проходящим свои товары, к ним присоединяется афинянин, умоляющий купить у него безукоризненную ламповую светильню. Со всех сторон раздаётся: «Купите масла! Купите уксусу! Купите меду!» И среди этого шума общественные глашатаи объявляют, что тот или другой корабль пришел в гавань, что получены такие-то товары, или же извещают о награде, назначенной за поимку вора или бежавшего невольника.

На афинском рынке нет только женщин: ни один афинянин не пошлет свою жену или дочь на рынок, он посылает или своего раба или идет сам и лично занимается покупкой провизии, для семейных потребностей. Однако, вблизи храма Афродиты, мелькает довольно много разодетых женских фигур, но они не покупательницы, а продавщицы, которые предлагают сами себя и, кроме того, играют на флейте и танцуют.

Афинянин имеет бесконечное множество причин, каждый день, хоть один раз, посетить Агору, а если причины нет, то он отправится туда и без всякой причины; он по большей части весьма общителен, для него постоянное общение со своими ближними есть необходимость, это свойство его бросается в глаза повсюду, выражается в его многоречивости в собраниях, в банях, в цирюльнях, в лавках, даже в мастерских ремесленников.

Сотня скифских воинов – наемников, нечто вроде городской полицейской стражи, постоянно обеспечивают безопасность на рынке и находятся в распоряжении Совета пятисот.

Среди суматохи на Агоре уже несколько времени прогуливается какой-то человек с красивым лицом и стройной фигурой, который глядит вокруг глазами новичка. То там, то здесь он подходит к лавкам торговцев, спрашивает о ценах на товары, но по-видимому повсюду встречает затруднения, какие всегда встречаются иностранцам. Наконец, он подходит к продавцу лент из Галимоса.

– Ты иностранец? – спрашивает торговец.

– Да, – отвечает тот, – я несколько дней тому назад приехал из Сикиона и думаю здесь поселиться – я предпочитаю быть в Афинах чужестранцем, чем гражданином в Сикионе, где мне плохо пришлось от моих врагов.

Продавец лент из Галимоса, услышав, что заговоривший с ним не афинский гражданин, принимает важный вид и говорит с оттенком некоторой снисходительности:

– Приятель, если тебе не известна стоимость наших денег и цены наших товаров, то следует познакомиться с ними и, если возможно, при помощи честного человека. – Вот, – продол-

жает он, вынимая маленькую, тонкую серебряную монету и кладя ее на ладонь, – вот видишь, это серебро, во всем свете не найти такого чистого серебра, как в этой монете. Эта самая мелкая наша серебряная монета, половина оболы, на нее ты можешь купить себе кусок сыра или небольшую колбасу, или же порядочный кусок мяса. Если же ты дашь целый обол, то можешь получить прекрасное рыбное блюдо. Если у тебя есть шесть оболы, то они равняются одной драхме, и ты можешь поменять их на большую серебряную монету с изображением головы Афины. На такую драхму ты можешь приобрести самое изысканное рыбное блюдо, на три – меру пшеницы, или копайского пива. На десять драхм ты уже можешь купить себе хитон. Если у тебя есть сто драхм, то они составляют одну мину и на половину мины ты можешь купить себе раба, на три мины – лошадь или маленький домик, если же желаешь побольше и получше, то может быть тебе придется заплатить шесть мин, которые составляют талант. Из этого ты можешь видеть, что в Афинах, на сравнительно небольшие деньги, можно купить много хорошего, но если у тебя нет денег, то поступай как мы: бедные люди должны питаться скромно...

В эту минуту раздался громкий голос, заглушивший рыночный шум. Глашатай сообщал о назначавшемся через час на Пниксе народном собрании. Одновременно с этим, на вершине Пникса появился флаг, бывший знаком предстоящего народного собрания и видимый во всем городе.

Вокруг глашатая толпился народ. Уже с раннего утра афиняне были на ногах и повсюду, где только собирался народ, слышались оживленные разговоры, кто-то кричал, что сокровище, привезенное с Делоса, стоит тысяча восемьсот талантов, кто-то утверждал, что три тысячи, кто-то с жаром доказывал, что цена делосского сокровища шесть тысяч талантов чистым золотом. Некоторые соглашались дать деньги на строительство нового храма Афины-Паллады на Акрополе, но сомневались в необходимости тратить средства на жалование солдатам и на зрелища. Другие, напротив, требовали зрелищ... Наконец, сошлись во мнении, что неплохо сначала послушать Перикла. Только колбасник Памфил презрительно сказал:

– Перикл, вечно Перикл... Неужели мы всегда должны слушаться его.

– Перикл единственный человек в Афинах, о котором его сограждане не могут сказать ничего дурного, – сказал кто-то.

– Как ничего дурного! Разве старые люди не говорят, что в чертах его лица есть некоторое сходство с тираном Пизистратом. Кроме того у него голова луковицей.

– Как – голова луковицей! – воскликнули все.

– Да – луковицей, – повторил Памфил. – Знайте, таинственно продолжал он, – что у Перикла на затылке маленькая торчащая шишка, что делает его голову похожей на луковицу.

– Что за глупости! – закричали многие. – Видел ли кто-нибудь то, о чем ты говоришь?

– Как можно это увидеть? – с жаром продолжал Памфил. – На войне он носит шлем, а в мирное время, где только возможно, покрывает себе им голову или же старается как-нибудь иначе скрыть свой недостаток, например: на ораторских подмостках он надевает миртовый венок, а в обыкновенное время выходит на улицу в широкополой фессалийской шляпе.

– Если это так, – улыбаясь заметил один аристократ, случайно оказавшийся в толпе, насмешливо поглядывая на бедно одетых простых людей, – если у друга народа, Перикла, голова луковицей, то он должен беречь ее из любви к своим приверженцам продавцам лука и тому подобного...

Некоторые засмеялись этой шутке, но в числе людей, на которых он бросил свой насмешливый взгляд, находился и продавец лент из Галимоса. Его черные глаза сверкнули, он сжал кулаки и уже готов был ответить резким словом, но в эту минуту к группе приблизился известный в городе старый скупец Фидипид, несший свои покупки в полах плаща.

– Фидипид, – крикнул кто-то, увидев его, – ты человек, умеющий вести свой дом, но что скажешь ты по поводу расточительности Перикла, который желает, чтобы сокровище Делоса

было истрачено на всевозможные зрелища и большой роскошный храм Афины-Паллады на Акрополе.

– Конечно, у нас должен быть новый храм на вершине Акрополя, даже если бы за него пришлось отдать все, – отвечал Фидипид.

– Как, ты скупился у себя в собственном доме и так щедр на общественные деньги, – раздался голоса со всех сторон.

– И я прав, – возразил Фидипид, – дома не стоит быть щедрым и притом много ли мы все бываем дома? Афинянин принадлежит общественной жизни и общественная жизнь – ему, поэтому, я всегда говорю, будьте скромны дома, но щедры и великодушны в общественной жизни, для всех. То, чем я украшаю мой собственный дом, радует меня очень недолго и может быть уже мой сын и наследник растратит все, но то, что я помогу построить на вершине Акрополя, перейдет к потомкам.

– Фидипид прав, – говорили мужчины, – глядя друг на друга и кивая головами, но аристократ снова подал свой голос:

– Все должно быть в меру, – сказал он, – сеять надо рукой, а не прямо из мешка. Если мы не будем знать меры, то гордое здание афинского могущества и величия падет...

– Пусть оно падет тебе на нос! – раздался гневный голос продавца лент из Галимоса.

Все засмеялись. Но аристократ продолжал:

– Мы должны последовать примеру спартанцев, иначе наше благоденствие не будет долговечно. Так же скоро оно закончится и если мы будем продолжать оставлять бразды правления в руках бедного и голодного класса...

Продавец лент из Галимоса, услышав эти слова, снова сжал кулаки. Товарищи с трудом удержали его.

Аристократ бросил на продавца лентами мрачный взгляд и исчез в толпе, двинувшейся к Пниксу, так как наступил час собрания. Продавец лент, все еще не успокоившись, обратился к сикионийцу, шедшему рядом.

– Ты слышал, что позволяет себе говорить один из этих негодяев аристократов? Они смеют презирать простой народ, потому что мы бедны, как будто вследствие этого мы менее афинские граждане, чем они! Ведь что-нибудь да значит такое управление, как наше, когда все граждане помогают управлять государством! Перикл умен, очень умен – я вполне согласен с ним относительно перевоза в Афины делосского сокровища, точно так же как и употребления денег на постройку нового храма богини Афины-Паллады, – но мы граждане, можем и не соглашаться, мы можем показать, что Афинами правит народ...

Холм Пникса средний из трех холмов, возвышающихся на юго-западной стороне города... С северо-востока он отделен оврагом от так называемого холма Нимф, а с южной стороны, еще более глубокий овраг с обрывистыми, скалистыми краями отделяет его от холма Музиона, самого высокого из всех. С северной стороны холм отлого спускается к равнине, с восточной – напротив Акрополя, устроена обрывистая терраса, в которой выбита искусственная лестница.

Продавец лент из Галимоса и его спутник поднялись на вершину. У самого конца лестницы стояли лексиархи с тридцатью помощниками, наблюдавшие за тем, чтобы никто не имеющий права бывать на собрании, не оказался на нем.

Народ устремился внутрь обширного круга, над которым расстилось голубое небо.

Сикионец любопытным взглядом всматривался за ограду, быстро наполнявшуюся афинянами. На заднем плане было возвышение, на котором помещался большой камень. Этот четырехугольный камень служил подмостками, с которых ораторы говорили с народом; к нему вели с двух сторон узкие лестницы. В древние времена это место было святилищем, а этот камень – жертвенником Зевсу. Напротив подмостков помещалось несколько рядов каменных скамеек, на которых могла расположиться часть собрания.

Осмотрев все это, приезжий повернулся и взглянул на город, расстилавшийся у подножия холма. По левую сторону от Акрополя находилось другое священное место собрания Ареопага – святилище Эвменид.

Между тем толпа у входа становилась все плотнее, характер афинян сказывался здесь так же, как и на Агоре; каждое мгновение раздавались восклицания лексиархов:

– Вперед, Эвбулид – не болтай так долго у входа! – Тише, Харонд, не толкайся. – Проходите и пропустите следующих.

Продавец лент из Галимоса отошел в сторону, чтобы еще немного поболтать со своим новым знакомцем, указывая ему на того или иного в толпе.

– Вот, погляди на этих двоих, с длинными, косматыми бородами, бледными, мрачными лицами, в коротких плащах и с толстыми палками в руках, с ушами, которые так плотно прилегли к голове, как будто они каждый день привязывают их ремнями, похожих на атлетов, некогда боровшихся с олимпийцами. Этих людей мы называем друзьями спартанцев, они тяготеют к Спарте и желали бы, чтобы у нас было все так же как там...

Вдруг он толкнул своего спутника.

– Смотри, это Фидий, скульптор, создавший статую Афины для Акрополя. С учениками и помощниками, все они сторонники Перикла.

Затем подошли пританы. Продавец лент указал на них спутнику, но почти в ту же минуту еще сильнее толкнул его, говоря:

– Смотри, это Перикл, знаменитый стратег Перикл.

– А кто эти люди, идущие с таким достоинством? – спросил сикиониец.

– Это девять архонтов, – отвечал торговец лентами.

– Эти люди, кажется, пользуются наибольшими почестями? – спросил сикиониец.

– Почестями? – Да, но в сущности выше их мы ставим стратегов.

– Почему?

– Да потому, что в стратеги мы выбираем наши лучшие головы, – с хитрой улыбкой отвечал торговец, – тогда как, выбирая архонтов, мы обращаем внимание лишь на безупречное прошлое. Быть выбранным архонтом, конечно, большая честь – его личность считается почти священной, но горе ему, если по окончании срока его избрания мы не совсем довольны: мы присуждаем его – угадай к чему? – поставить статую в человеческий рост из чистого золота в Дельфы.

– Статую из чистого золота в человеческий рост! – с удивлением вскричал сикиониец, – но никто не в состоянии заплатить за нечто подобное...

– Вот потому-то мы и приговариваем их к этому, государственный должник, не имеющий возможности расплатиться, по нашим законам лишается прав гражданства, поэтому такой архонт на всю жизнь лишается чести и это вполне справедливо: если прежде он пользовался большой честью, то должен снести и большой позор.

В это время был спущен флаг, извещавший афинян с вершины Пникса о предстоящем народном собрании. Это означало, что собрание открыто.

В эту минуту раздался призыв глашатая к тишине и шум голосов мгновенно смолк.

Сикиониец остался на том месте, где разговаривал с продавцом лент и принялся рассматривать, насколько позволяло расстояние, людей, которые сидели на скамьях. Место, где он стоял, было немного приподнято, так что он мог смотреть через головы толпы. Он видел, как после принесения жертв богам, окропления их кровью всех скамеек и торжественного обращения глашатая к богам, поднялся один из пританов и зачитал какую-то бумагу, в которой без сомнения заключались предложения стратега Перикла. Затем на подмостки стали подниматься ораторы, которые хотели выступить против внесенных предложений. По старому обычаю, обращаясь к народу, они надевали на голову миртовый венок.

Народ то слушал их не переводя дыхание, то кричал и шумел. Простые граждане то и дело грозили аристократам. Порой вся масса народа выражала громкое одобрение, а аристократы молчали, или ворчали сердито, в другой раз наоборот, на лицах аристократов выражалось удовольствие, народ же громко негодовал.

Так продолжалось несколько часов, наконец, сикионец увидел стратега Перикла, который уже ранее обращался к народу, и теперь снова вступил на ораторские подмостки. В собрании водворилось глубокое молчание.

Спокойно и с достоинством возвышалась над афинянами фигура человека, которого они звали «олимпийцем». До сикионийца доносились только звуки голоса и все-таки он, не разбирая слов, слушал его, как очарованный. Этот голос ласкал, словно мягкий западный ветерок и в тоже время был тверд и силен. Вдруг сикионец увидел, что Перикл вынул из-под плаща правую руку и, вытянув ее вперед, указывал на возвышавшуюся перед ним вершину Акрополя.

Тысячи голов повернулись, как одна, по направлению, указанному рукой оратора, где в ярком солнечном свете сверкала священная вершина Акрополя.

Сикионец слышал, как громовая речь олимпийца Перикла смолкла, он видел, как оратор снял с головы венок, спустился с подмостков под громкие крики афинян. Председательствовавший обратился к народу, спрашивая его решения, и множество рук поднялось вверх в знак одобрения. Наконец глашатай объявил, что собрание, на котором Перикл одержал победу, закрыто.

По предложению Перикла было принято решение израсходовать деньги на жалованье солдатам, на оплату судьям, на народные зрелища и на строительство нового роскошного храма Афины-Паллады.

Глава III

Ясный, безоблачный день поднимался над Афинами. Их слава росла и их могущество, казалось, не имело соперников.

Спеша, как будто боясь пропустить благоприятную минуту, приступили афиняне к исполнению плана Перикла и Фидия. Со всех сторон собирались к Фидию искусные помощники, которые были необходимы для исполнения его величественного плана. Для храма Афины-Паллады нужно было немалое число статуй богов, кроме того богатые афиняне заказывали статуи, которые думали поставить на вершине Акрополя одновременно с открытием большого нового храма. Множество народа было занято постройкой большой школы и Одеона и еще большее число работало в Акрополе.

В мраморных каменоломнях Пентеликоса царствовало особое оживление, непрерывно тянулись от них к городу длинные вереницы мулов, нагруженных камнями; на склонах горы, где помещался Акрополь, не переставая, раздавались крики погонщиков, так как стоило больших трудов поднимать на гору большие куски мрамора.

Такая же кипучая деятельность как в Пентеликосе, велась и в Лаурионе на разработках металла, и там, где добывалась глина; то же, чего не было у афинян: черное дерево, слоновая кость, привозились из далекой южной страны. Мрамор и дерево нужно было обрабатывать, свинец растопить, слоновая кость должна была пройти через руки резчиков, золотых дел мастера были заняты приготовлением всевозможных украшений для храма, простые рабочие прокладывали дороги, необходимые для подвоза множества материалов. Таким образом, работа кипела повсюду.

Для постройки предпочитались молчаливые, серьезные, терпеливые египтяне. Они работали так же неумолимо, как над своими родными пирамидами, и все Афины превратились, казалось, в одну громадную мастерскую.

Место, на котором должны воздвигнуть храм, пока что было загромождено камнями: на южном склоне лежали громадные квадратные блоки фундамента, остальная часть вершины покрыта кусками мрамора, предназначенного для строительства. На заднем плане виднелись наскоро построенные помещения мастерских; повсюду слышен стук молотка, глухой стук падающих на землю камней и балок, крики надсмотрщиков, подгоняющих рабочих.

Но среди всего этого беспорядка на Акрополе сохранился один памятник древних времен, таинственный, мрачный храм морского бога Посейдона и змеиноногого Эрехтея, древнего эллинского героя, наполовину разрушенный в Персидскую войну и восстановленный только частично. По преданию богиня Афина-Паллада подарила дочерям царя Кекропса новорожденного змеиноногого ребенка, со строгим запретом открывать ящик, в котором он помещался. Но дочери Кекропса, Пандроза, Аглаура и Хеха, подстрекаемые любопытством, открыли ящик и нашли мальчика, совершенно обвитого кучей змей. Тогда, не помня себя от ужаса, девушки бросились вниз со скалы Акрополя.

Что же касается змеиноногого мальчика, то он вырос под покровительством царя Кекропса и сделался могущественным царем Афин. Храм был построен над могилой этого полубога, но душа его еще жива по верованию афинян, в змее, которую постоянно держат в храме. Животное считается таинственной покровительницей храма, и каждый месяц ей приносят в жертву медовую лепешку.

Священный источник течет в ограде храма; его вода имеет соленый вкус, как будто он имеет подземную связь с морем, и, когда дует южный ветер, по словам афинян, в источнике слышен легкий плеск морских волн.

– В этом нет ничего удивительного, – говорят афиняне, – так как этот источник родился от удара трезубца Посейдона на скале Акрополя, когда он спорил с богиней Афиной-Палладой

за обладание Аттикой. Следы трезубца до сих пор еще видны в скале и каждый может убедиться в этом собственными глазами.

А Афина-Паллада посадила на берегу источника то масличное дерево, от которого произошли все маслины Аттики – эта гордость и благословение страны – и это масличное дерево послужило источником благополучия целого народа и дало победу мудрой богине Афине-Палладе. Это старое священное масличное дерево также помещается в ограде храма. Персы сожгли его, но на следующее утро, по милости богов, оно снова выросло в прежнем великолепии.

Но величайшей святыней в храме считается древнее изображение Афины-Полии, из масличного дерева, созданное не человеческой рукой, а упавшее с неба. Сам Эрехтей поставил его, не изменив ни одной черты, так по крайней мере учат жрецы, служащие в храме Эрехтея; неугасимая лампада горит перед нею в мрачном храме.

Перед храмом стоит жертвенник Зевсу. На нем не приносится в жертву кровавых жертв, здесь величайшему богу приносятся только разнообразные яства. Таков был упоминаемый еще в песнях Гомера храм Эрехтея, вокруг которого были расположены храмы других богов и напротив которого должен быть воздвигнут новый роскошный храм Афине-Палладе.

Перед входом в храм происходило священнодействие: старое деревянное изображение покровительницы города Афины чистилось и заново одевалось. С изображения снимали его украшения и платье и покрывали специально предназначенной для этого крышкой. Снятое платье должно было мыться особо для этого назначенными женщинами. В это время к храму запрещалось подходить кому бы то ни было. Но вот чистка окончена; богиня снова одета; ее волосы тщательно заново причесаны; ее тело снова украшено венками, диадемой, ожерельем и серьгами. На ступенях храма остались только двое, прорицатель Пампон и жрец храма Эрехтея, Диопит: лицо его было мрачно. Стоя на пороге храма, бросая гневный взгляд на толпу рабочих, шум которых казался ему дерзким нарушением святости этого храма, он говорил:

– Спокойствие ушло с этой вершины с тех пор, как сюда явилась шумная толпа Фидия и Калликрата, и меня не удивило бы, если бы сами боги в скором времени бежали от этого глупого и противного богам дела. Вместо того, чтобы сначала восстановить с новым блеском древний храм Эрехтея после разорения его персами, Перикл и Фидий начинают постройку нового, совершенно бесполезного, роскошного храма, как раз напротив старой древней святыни. О! Я знаю, к чему стремятся эти ненавистники богов: они хотят отодвинуть на задний план старый храм и его богов и заставить забыть древние, благочестивые нравы, а вместо старого храма и старых богов, пренебрегавших роскошью и пустым блеском, поставить таких, которые привлекали бы наружным величием, но не возбуждали бы в сердцах божественного страха.

– Да, – согласился Лампон, – в настоящее время все простое, древнее, священное, достойное преклонения не уважается многими, и скоро смертные захотят подняться выше богов.

– Пусть Перикл и Фидий строят на этом несчастном месте, ведь оно поражено ядовитыми испарениями. Об этом, – таинственно понижая голос, продолжал Диопит, – знаем только мы, жрецы храма Эрехтея, – не благословение, а проклятие будет уделом этих строителей. Афиняне привыкли действовать необдуманно – многие не знают отчего это, но нам, Этеобутатам, известно, что Посейдон, побежденный в споре с Афиной-Палладой, разгневанный на свое поражение, поклялся во все времена давать неблагоприятные советы афинянам.

– Да, они неблагоприятны, – поддакивал Лампон, – и неблагоприятен их предводитель, так как слушается советов Анаксагора, изучающего природу, который, полагая, что все должно иметь естественные причины, считает богов лишними.

– Я его знаю, – отвечал Диопит, и мрачный блеск сверкнул в его глазах, – я хорошо знаю Анаксагора. Таких людей не следует терпеть в нашем государстве, а то кончится тем, что афинские законы будут бессильны против отрицателей богов.

В эту минуту зоркий взгляд Диопита упал на поднимавшихся по западному склону горы нескольких человек, оживленно разговаривавших.

– Мне кажется, – сказал он, – я вижу Перикла. Рядом с ним, если зрение не обманывает меня, идет один из нынешних поэтов, но кто такой этот стройный юноша, идущий рядом с Периклом?

– По всей вероятности, – отвечал Лампон, – это молодой музыкант из Милета, играющий на цитре, с которым, как я слышал, очень сблизился Перикл и который с некоторого времени повсюду появляется вместе с ним.

– Юный игрок на цитре, – повторил Диопит, внимательно всматриваясь в фигуру милезийца, – до сих пор я знал Перикла только как любителя красоты другого пола, теперь же я вижу, что он всюду умеет ценить прекрасное, этот юноша, клянусь богами, достоин служить не только так называемому олимпийцу Периклу, но даже и самому повелителю Олимпа, великому Зевсу. Меня только удивляет, что Перикл не боится появляться так открыто перед глазами афинян со своим любимцем.

Навстречу Периклу и его спутникам вышел Калликрат, приводивший в исполнение то, что придумывал Фидий и Иктинос. При взгляде на Калликрата видно было, что этот человек проводит все время на постройке, под ярким и горячим солнцем, наблюдая за рабочими. Его лицо загорело от солнца, так что едва отличалось цветом от его темной бороды. Черные сверкающие глаза также, казалось, приобрели новый блеск от солнца; костюм его едва отличался от костюма простых рабочих.

Перикл обратился к Калликрату с различными вопросами, и Калликрат с довольным видом указал на оконченный уже фундамент.

– Вы видите, – сказал он, – фундамент окончен, и вместе с ним большие мраморные ступени, окружающие храм; точно также окончены уже колонны для помещения изображения богини и для сокровищницы. Конечно, все это сделано еще в грубом виде, еще придется потерпеть, так как Фидий и Иктинос очень тщательно и скрупулезно работают над своими чертежами, добиваясь полной гармонии всех частей здания.

– Вот и они идут, – сказал старший спутник Перикла, поглядев в другую сторону, – теперь мы услышим их самих...

– Вы немного услышите, – возразил Калликрат, – вы знаете, Фидий молчалив, а Иктинос сердится на всякого, кто пытается заставить говорить о его плане. Эти люди разговорчивы только друг с другом и ни с кем более.

В это время Фидий и Иктинос подошли к ним.

Иктинос был невидный, слегка сутуловатый человек, у него было сонное, болезненное лицо и задумчивые глаза, как бы утомленные долгим бодрствованием, но в его походке было что-то поспешное и беспокойное, заставлявшее предполагать в нем легко возбуждаемый и подвижный характер.

Фидий обменялся рукопожатием с Периклом и его старшим спутником, а на юного музыканта скульптор бросил странный взгляд: он, казалось, знал его и в то же время не хотел знать.

У Иктиноса была наружность человека, которому встреча со своими близкими редко бывает приятна, и, казалось, он хотел бы продолжать путь без Фидия, но спутник Перикла, желая испытать справедливость сказанного Калликратом, обратился к озабоченному, спешившему Иктиносу с вопросом:

– Учитель, не согласишься ли ты, как знаток, ответить, почему архитекторы не помещают архитравы непосредственно над вершиной колонн.

– Потому что если бы мы делали иначе, то это было бы отвратительно, ужасно и невыносимо!

Эти слова Иктинос произнес поспешно одно за другим, опустив свои серые глаза и поспешно пошел дальше.

Все засмеялись.

– Я вижу, – сказал Перикл, – обращаясь к Фидию, что работы быстро подвигаются вперед, это крайне приятно! Мы должны работать быстро и усердно, должны пользоваться благоприятным временем – стоит начаться большой войне и все остановится.

– В мастерских уже работают над слепками и глиняными моделями, – отвечал Фидий.

– Не думаешь ли ты, – спросил Перикл, – обратиться к Полигноту, чтобы и здесь точно также как и внизу, в храме Тезея, храм Афины-Паллады украшали не только скульптурные произведения, но и живописные?

– Я сам юношей занимался живописью, – отвечал Фидий, – но она не удовлетворяла меня, я хотел, чтобы то, что я представлял себе в мечтах, выходило полно, рельефно, а этого я мог достигнуть только резцом.

– Хорошо, – сказал Перикл, – пусть новый храм Афины-Паллады будет украшен только ваиянием, чтобы он мог служить памятником лучшего, что мы можем создать.

Трагический поэт погрузился в разговор с юным игроком на цитре. Он сам был довольно хороший музыкант, но юноша в своем разговоре с ним показал такие познания, что он, наконец, с удивлением сказал:

– Я знал, что милезийцы славятся своей любезностью, но я не думал, что они так мудры...

– А я, – возразил юноша, – всегда считал трагических поэтов Афин за людей мудрых, но не думал, чтобы они могли быть так любезны. Я слишком поспешно судил об авторах по их произведениям. Почему ваша трагическая поэзия до сих пор так мало затрагивала нежные движения человеческого сердца? В ваших произведениях все величественно, благородно и нередко ужасно, но вы не отдаете заслуженного места могущественной страсти, называемой любовью. Умели же Анакреон и Сафо так много сказать о ней, почему же нынешние авторы трагедий пренебрегают изображать в своих произведениях это нежное и чистое человеческое чувство?

– Мой юный друг, – улыбаясь отвечал поэт, – несколько дней тому назад мне пришел в голову сюжет трагедии, в которой должно быть предоставлено большое место тому чувству, о котором ты так красноречиво говоришь. Не знаю, стал ли бы я писать эту трагедию, но теперь, после твоих слов, а еще более увидав твой сверкающий взгляд, которым ты сопровождал свои слова, я чувствую себя воодушевленным и вдохновленным.

– Прекрасно, – сказал юноша, – я приготовлю тебе благоухающий венок в день победы твоей трагедии.

– Венок из красных роз! – вскричал поэт, – я в моих стихах предполагаю воспеть могущество Эрота.

– Конечно, – отвечал юноша, – мне кажется благодарный крылатый бог желает, чтобы я сейчас же нарвал роз для этого венка.

С этими словами стройный юноша вскочил на выступ скалы, где зеленел большой розовый куст, весь покрытый цветами.

– Берегись, юный друг! – сказал поэт, – ты не знаешь, на каком несчастном месте ты стоишь: с вершины этой скалы бросился в море афинский царь, потому что его сын, возвращаясь после сражения с чудовищем, забыл, в знак победы, поднять белый парус. Впрочем, на этой горе нельзя сделать шагу, чтобы не натолкнуться на какое-нибудь воспоминание прошлого, чтобы не оживить какого-нибудь древнего предания.

– Если ты так смел, мой милезийский друг, – вмешался Перикл, – то пойдем к обрыву, с которого представляется прекрасный вид на всю окрестность.

Юноша, смеясь, поспешил вперед и скоро все трое стояли на краю обрыва.

– Прислушиваясь к гармоническому шуму этих волн, – сказал Перикл, – каждый раз, когда я смотрю на эти вершины, на расстилающиеся у меня под ногами горы Пелопонеса, я чувствую странное желание: мне хочется обнажить меч, мне кажется, как будто за этими горами поднимается мрачный образ Спарты и с угрозой глядит сюда...

– Думаю, лучше вместо того, чтобы обращать внимание на горы далекого Пелопонеса, наслаждаться тем, что лежит у нас перед глазами, – проговорил поэт. – Но лучше всего, я просил бы тебя приехать ко мне, вместе с этим юным музыкантом пожить несколько дней в моем деревенском доме на берегу Кефиса, я покажу вам мои цитры и лиры и, если вы не против, то мы устроим маленькое состязание в музыке и пении как аркадские пастухи.

Юноша улыбнулся, а Перикл, после короткого молчания, сказал:

– В скором времени я привезу к тебе юного Аспазия, тем более, что в состязании в музыке и в пении, вы должны иметь судью.

– Юношу зовут Аспазием! – вскричал поэт, – это имя напоминает мне одну прекрасную милезианку, о которой я слышал в последнее время...

Юноша покраснел. Эта краска удивила поэта, и в эту минуту почувствовал, уже без сомнения не в первый раз, что рука юного милезийца слишком мягка, тепла и мала даже для такого молоденького мальчика, каким он казался. Одну половину тайны он прочел в яркой краске, выступившей на щеках юноши – другую сказала ему рука... Поэт не ошибся, рука, которую он держал в своей руке, была рукой прелестной Аспазии.

После первого свидания в доме Фидия, Перикл и милезианка снова увидались сначала у Гиппоникоса, приятеля Перикла, затем стали видаться все чаще и чаще и скоро сделались неразлучны.

Аспазия переделалась в мужской костюм и часто сопровождала своего друга под видом игрока на цитре из Милета. В этот день она пришла с ним на Акрополь. По дороге к ним присоединился поэт, которого влекло к мнимому юноше непонятное для него самого чувство. Теперь загадка была разрешена, он со смущением опустил маленькую ручку, но скоро снова овладел собой и сказал с многозначительной улыбкой, обращаясь к Периклу:

– Я замечаю, что бог поэтов – Аполлон расположен ко мне, он вдруг наградил меня способностью по одному прикосновению к руке человека определять его пол, даже если бы тот хотел скрыть его...

– Ты уже давно любимец богов, – возразил Перикл, – от тебя Олимпийцы не имеют никаких тайн...

– И хорошо делают, – отвечал поэт. Я причисляю к ним также и Олимпийца-Перикла... Он познакомил меня с женщиной, которая несколькими словами зажгла во мне божественный огонь вдохновения. Однако мне пора домой, поэтому я с сожалением прощаюсь с вами. Не забудьте вашего обещания и вспомните обо мне в моем уединении.

– Перикл, посетит тебя муза в твоём одиночестве.

– Я надеюсь, что твои слова исполнятся, – отвечал поэт, – если надо мною будет витать дух этого игрока на цитре, которым я очарован, хотя и не слышал еще его игры. Видно, он избирает сердца государственных людей, поэтов, чтобы разыгрывать из них свои мелодии.

Перикл и Аспазия спустились со ступеней, высеченных в скале и подошли к гроту, из которого вытекал источник. Аспазия зачерпнула воды в горсть и поднесла Периклу, который выпил воду из ее руки.

– Ни один персидский царь, – улыбаясь, сказал он, – не пил из столь дорогого сосуда, только он мал, что я боялся проглотить его вместе с водой.

Аспазия засмеялась и хотела ответить на шутку, но вдруг испугалась, неожиданно заметив лицо, глядевшее на них из пещеры и улыбавшееся добродушной улыбкой. Подойдя ближе, она увидела довольно грубо сделанное изображение бога Пана, которому была посвящена пещера.

– Не бойся, – постарался успокоить ее Перикл, – бог пастухов – добродушное существо. Он очень благосклонно встретил Фидипида, когда тот отправился в Спарту, с призывом о помощи нам против персов – и ласково обошелся с ним на границе Аркадии. Ему понравилось, что юноша, не переводя духа, из любви к родине, бежал по горам, и составил себе хоро-

шее мнение об Афинах, о которых прежде не много заботился. Он сам явился помочь нам при Марафоне.

– Пан может быть добрым или злым, когда как пожелает, – возразила Аспазия, – но мне кажется эта пещера не подходит для бога земледельцев и пастухов.

– Ты права, – отвечал Перикл, – этот грот тем более слишком хорош для Пана, что он служил брачным ложем для бога света Аполлона, полюбившего дочь Эрехтея, Креузу, сын которой Ион был родоначальником нашего ионического племени.

– Как! – с волнением вскричала Аспазия, полушутя полусерьезно. – Здесь колыбель благороднейшего из племени Греции, и афинские девы не украшают стен этой пещеры венками из роз и лилий и вместо сверкающего красотой бога Аполлона здесь стоит с глупым, широким лицом аркадиец, чуждый для вас, пришелец из мрачных и враждебных гор Пелопонеса?

– Отчего ты так восстаешь против бога горной и лесной тишины? – смеясь возразил Перикл. – Я не знаю лучшей защиты для страстно влюбленной пары.

– Во всяком случае я благодарна ему за ту прохладу, которую он посылает нам в этой пещере.

Говоря это, Аспазия сняла с головы фессалийскую шляпу и надела ее на голову пастушескому богу. Золотые роскошные локоны рассыпались у нее по плечам.

– О, – продолжала она, смеясь, – если бы я могла отдать Пану свое платье игрока на цитре – оно так стесняет меня. Как долго еще придется мне переносить это стеснение, о, афиняне, когда дозволите вы женщине быть женщиной!

Глава IV

Гиппоникос, в доме которого жила Аспазия, был человек добрый и очень любимый народом, он часто делал приношения богине Афине-Палладе, при всяком случае угощал народ, а во время большого праздника Диониса, каждый мог прийти к нему получить чашу с вином и набитую плюшем подушку. Его дом в Афинах отличался роскошью, и только разбогатевший меняла Пирилампа старался сравниться с ним. У того был дом в Пирее, он устроил его по образцу дома Гиппоникоса, которого во всем старался превзойти. Когда Гиппоникос выписал себе маленькую собачку из Милета – Пирилампа сейчас же приобрел себе еще меньше; стоило Гиппоникосу купить огромную собаку, величине которой все дивились – Пирилампа не находил покоя до тех пор, пока не заимел еще большую. У Гиппоникоса был привратником настоящий великан, и так как Пирилампа никак не мог найти себе человека более высокого роста, то он приказал стеречь свои ворота забавному карлику, обращавшему на себя всеобщее внимание.

Старший сын Гиппоникоса Каллиас не мог заучить двадцати четырех букв алфавита, тогда Гиппоникос назвал товарищей маленького Каллиаса, детей своих рабов, именами букв алфавита. У Пирилампа также был сын, по имени Делос, и так как маленький Делос любил играть со щенками, то в дом было взято двадцать четыре щенка, из которых каждый носил имя одной буквы алфавита, написанное на дощечке и привязанное к его шее.

Гиппоникос славился своими лошадьми и так, как Пирилампа в этом отношении не мог превзойти его, то старался взять над ним перевес приобретя замечательную коллекцию редких обезьян. У Гиппоникоса были самые прекрасные голуби, в Афинах – это торжество своего соперника не давало покоя Пирилампу, он долго придумывал, чем бы побить Гиппоникоса, и наконец выписал из Самоса пару роскошных птиц, хвосты которых украшены сотнями глаз – знаменитых птиц Геры.

Птицы, окруженные тщательным уходом, стали размножаться; вскоре на дворе Пирилампа появилась маленькая стая прелестных птиц. Появляясь на плоской крыше дома, эти птицы приводили в восторг всех проходящих. Победа Пирилампа, казалось, была окончательной: любопытные афиняне толпами приходили посмотреть на павлинов Пирилампа; некоторое время только и было разговоров, что о них. Счастливый соперник Гиппоникоса не успокоился до тех пор, пока сам Перикл не дал ему обещания прийти посмотреть на его павлинов.

Перикл явился к нему в сопровождении Аспазии, снова скрывшейся под костюмом милезийского музыканта.

Тот, кто в то время в Афинах хотел сделать своей подруге самый дорогой подарок, покупал и дарил ей одного из молодых павлинов Пирилампа. Аспазия была восхищена красивыми птицами, и Перикл не мог не послать одного из молодых павлинов Аспазии.

Утром другого дня Гиппоникос неожиданно вошел в комнату красавицы, пользовавшейся его гостеприимством.

Гиппоникос был человек довольно полный, лицо его было красно и немного отекало, глаза имели добродушное выражение, а на толстых губах всегда мелькала улыбка. С той же улыбкой на губах, но на этот раз с оттенком некоторой насмешки, он вошел к Аспазии.

– Прелестная гостья, – сказал он, – я слышал, что тебе очень нравится в Афинах?

– Я так благодарна тебе... – отвечала Аспазия.

– Мне так не кажется, – возразил Гиппоникос, – ты встречалась с учениками Фидия, а в последнее время познакомилась с моим другом, великим Периклом, я даже слышал, что ты очень часто сопровождаешь его, переодетая музыкантом, и если я не ошибаюсь, то голуби Гиппоникоса перестали тебе нравиться и ты в обществе Перикла спустилась в Пирей, чтобы полюбоваться павлинами Пирилампа.

– Да, эти павлины очень красивы, – непринужденно сказала Аспазия, – и ты сам должен был бы пойти посмотреть на них.

– Я недавно проходил мимо дома Пирилампа, – отвечал Гиппоникос, – и слышал, как кричали эти животные, этого для меня было достаточно. Конечно, всякий может искать себе развлечений, где ему угодно. То, что имеешь у себя дома, надоедает, и, как я замечаю, очень часто гостеприимство плохо вознаграждается.

При этих словах Гиппоникос посмотрел в лицо Аспазии, надеясь, что она скажет что-нибудь, но она молчала. Тогда он продолжал:

– Ты знаешь, Аспазия, я освободил тебя в Мегаре из очень неприятных затруднений, я привез тебя сюда в Афины, я дружески принял тебя у себя в доме, я много для тебя сделал, а теперь, скажи, какую благодарность получил я за все это?

– Тот, кто требует благодарности таким образом, – отвечала Аспазия, – тот желает платы, а не благодарности и ты также, как я вижу, хочешь, чтобы тебе заплатили за то, что ты сделал для меня. И, как кажется, твои благодеяния имеют определенную цену, но, напрасно, Гиппоникос, ты не объявил этой цены вперед, теперь же ты сердишься, как торговка на рынке, за то, что твоя цена слишком высока для покупателя.

– Не извращай дела, Аспазия, – возразил Гиппоникос, – ты знаешь, что это я покупатель и за твое расположение я готов был заплатить всем...

– В таком случае я – товар! – вскричала Аспазия. Хорошо, пусть будет так – я товар! Если ты хочешь, меня можно купить...

– За какую цену? – спросил Гиппоникос.

– Всеми твоими богатствами тебе не заплатить ее, – возразила Аспазия.

– Это только слова, – сказал он и его лицо снова приняло добродушное выражение. – Тебя более нельзя купить, вот и все! Другой купил тебя, какой ценой – это твое дело, и так как этот другой – великий Перикл, то я не сержусь ни на него, ни на тебя. Я люблю Перикла и желаю ему всего хорошего, он некогда сделал мне большое одолжение, которого я никогда не забуду: он избавил меня от несносной жены, которая была в то время еще хороша, но также несносна, как и теперь. Он избавил меня от Телезиппы, да вознаградят его за это боги!

Сказав это, Гиппоникос встал и удалился.

Первой мыслью Аспазии после его ухода было то, что ей неприлично дальше пользоваться гостеприимством Гиппоникоса. Она позвала свою рабыню, приказала нагрузить пару мулов вещами и отвезти их к милезианке, жившей уже несколько лет в Афинах, которая была подругой матери Аспазии, и теперь любила почти материнской любовью свою соотечественницу.

Послав поблагодарить Гиппоникоса за гостеприимство и сообщить о своем решении оставить его дом, Аспазия переделась в мужское платье и отправилась в сопровождении раба посетить Перикла в его доме. До сих пор она еще не решалась на подобный шаг, но в этот день она с нетерпением желала повидаться с другом, чтобы посоветоваться с ним.

Вскоре после ухода Аспазии, слуга сообщил Гиппоникосу, что пришел раб от Пирилампа и принес павлина, предназначенного для милезианки. Гиппоникос ничего на свете так не ненавидел, как павлинов Пирилампа и, если бы он последовал первому движению своего раздраженного сердца, то сейчас же свернул бы шею птице, но он ограничился только тем, что сказал, нахмутив брови:

– Милезианка уехала, и я не знаю куда она отправилась: отнесите павлина в дом Перикла – без сомнения птица куплена им.

В это время Аспазия, по дороге к Периклу, дошла до Агоры. Поспешно пробираясь сквозь толпу незнакомых людей, она вдруг встретила Алкаменеса.

Скульптор остановился и, улыбаясь, сказал:

– Куда спешишь, прелестный юноша, – без сомнения к Периклу? Желаю, чтобы новые друзья были счастливее твоим расположением чем старые.

– Разве я давала кому-нибудь право на себя?

– Между прочим мне, – отвечал Алкаменес.

– Тебе? – спросила Аспазия. – Я дала тебе то, в чем ты нуждался, то, что было нужно скульптору, ни больше, ни меньше.

– Ты должна была дать все или ничего, – возразил Алкаменес.

– В таком случае забудь, что я давала тебе что-либо, – сказала Аспазия и исчезла в толпе.

Между тем, в доме Перикла, его супруга Телезиппа была погружена в богоугодное занятие: она приносила жертву Зевсу, покровителю и умножителю имущества, чтимому всеми благочестивыми афинянами, а никто в таком совершенстве не знал древних обычаев предков, как Телезиппа. Она обвила плечи шерстью, затем взяла еще ни разу не употреблявшийся глиняный сосуд с крышкой, также обвитый белой шерстью, смешала в этом сосуде всевозможные плоды с водою и маслом и поставила эту смесь в переднюю комнату.

Только она окончила свое благочестивое занятие, как увидела, что привратник впустил раба, несшего какую-то незнакомую ей птицу, с длинным хвостом и со связанными ногами.

Раб сказал, что эта птица принадлежит Периклу и, оставив ее, ушел. Телезиппа удивилась и не знала, что ей делать: не купил ли Перикл эту птицу на рынке для того, чтобы изжарить ее к обеду, но Перикл никогда до сих пор не занимался подобными вещами, и она решилась подождать возвращения супруга, а до тех пор велела отнести птицу на птичий двор.

Вскоре после ухода раба, принесшего павлина, дверь снова отворилась и в нее проскользнула, сопровождаемая рабыней, закутанная женская фигура, в которой Телезиппа узнала свою приятельницу, Эльпинику.

– Телезиппа, – взволнованно сказала она, – удали всех посторонних, или же уйдем с тобою во внутренние комнаты.

Супруга Перикла не в первый раз видела свою подругу в таком возбуждении и, надеясь услышать много любопытного, сразу исполнила желание гостьи.

Когда обе они очутились в одной из внутренних комнат, сестра Кимона торжественно начала:

– Телезиппа, что ты думаешь о верности твоего супруга?

Телезиппа не знала что и ответить.

– Что ты думаешь о любви твоего мужа к нашему полу вообще? – продолжала Эльпиника.

– О, – протянула Телезиппа, – мне кажется голова этого человека так наполнена государственными делами...

– ...что ты полагаешь, что он не думает более о женщинах! – перебила сестра Кимона, скривив рот в сострадательно-насмешливую улыбку. Конечно, ты знаешь об этом лучше других.

– Без сомнения, – беззаботно отвечала жена Перикла.

Эльпиника схватила ее руку и сострадательно улыбнулась.

– Телезиппа, неужели ты не знаешь своего мужа, подумай немного, вспомни прекрасную Хризиллу, возлюбленную трагического поэта Иона, за которой твой муж, как известно всему свету, ухаживал некоторое время...

– Но это было уже давно, – возразила Телезиппа.

– Весьма возможно, – согласилась сестра Кимона, – но неужели в последнее время ничто не возбуждало твоего подозрения? Неужели поведение твоего мужа не удивляло тебя? Неужели ничто не наполняло твоего сердца дурным предчувствием?

Телезиппа пыталась что-то припомнить, не могла и покачала головой.

– Бедняжка! – воскликнула Эльпиника, – в таком случае несчастье должно поразить тебя не приготовленной и ты сразу узнаешь свое горе! Неужели имя Аспазии не доходило никогда до твоих ушей?

– Это имя мне незнакомо... – проговорила Телезиппа.

– Так слушай же, Аспазия молодая милезианка, была изгнана из Мегары и оттуда привезена твоим бывшим супругом, Гиппоникосом, в Афины. Я полагаю, тебе известно каковы эти милезианки, эти женщины с того берега, эти вакханки, которые зажигают ярким огнем сердца мужчин. Аспазия из всех этих вакханок самая опасная, самая хитрая и самая испорченная... и в сети этой женщины попал твой муж.

– Что ты говоришь! – воскликнула жена Перикла. Где мог он встретиться с этой чужестранкой?

– У Гиппоникоса, – отвечала Эльпиника, – она живет в его доме. Там собираются эти гетеры, там устраиваются оргии... оргии, Телезиппа, и твой муж принимает в них участие. Но это еще не самое худшее; берегись, он тратит свое имущество на милезианку, он дарит ей рабов, ковры, мулов – все, что только возможно. Со вчерашнего дня это известно всему городу. До сих пор это хранилось в тайне, но теперь распространилось с быстротою молнии, так как вчера Перикл превзошел сам себя в бессовестности... Вчера он купил у Пирилампа эту птицу, павлина, для милезианки Аспазии. Все говорят сегодня об этом павлине, и сегодня утром эта птица была принесена рабом Пирилампа в дом Гиппоникоса. Я сама по дороге сюда говорила с людьми, которые видели раба, несшего на руках павлина, но, представь себе, те же люди рассказывали мне, что павлин не был принят в дом Гиппоникоса, что милезианка не живет у него более. Заметь как все это связывается одно с другим: она уехала от Гиппоникоса в другой дом и кто же купил для нее этот новый дом? – твой супруг, Перикл! Но почему ты так задумчиво смотришь на меня?

– Знаешь, – сказала Телезиппа, за несколько минут до твоего прихода какой-то раб принес сюда павлина, говоря, что он куплен Периклом.

– Где птица? – вскричала Эльпиника.

Телезиппа повела подругу на птичий двор, где связанный молодой павлин, печально лежал на земле.

– Дело ясное, – сказала Эльпиника, – павлина не приняли в дом Гиппоникоса, раб не хотел или не мог отыскать милезианку и отнес птицу сюда, к покупателю. Это указание богов, Телезиппа, принеси жертву Гере, защитнице и мстительнице за оскорбление священных уз.

– Проклятая птица! – вскричала Телезиппа, бросая гневный взгляд на животное, – ты не случайно попала мне в руки!

– Убей ее! – крикнула Эльпиника, – убей, зажарь на огне и приготовь из нее блюдо твоему неверному мужу.

– Я так и сделаю! И Перикл даже не осмелится упрекнуть меня – чтобы держать у себя подобную птицу, наш птичий двор слишком мал и если он купил ее, то я могу предположить только то, что она предназначена на жаркое. Перикл должен будет молчать: ему нечего будет возразить против этого, он будет молчать и втайне беситься, когда увидит птицу изжаренною. И только тогда, когда он с досадой оттолкнет блюдо с проклятой птицей, я выскажу ему в лицо все, что думаю о его постыдном поведении, которое уже всем известно.

– И прекрасно сделаешь, – воскликнула Эльпиника, улыбаясь и потирая руки. – Теперь ты видишь, – продолжала она, – какого рода государственные дела занимают голову твоего мужа и разлучают его с женой.

– Друзья погубили его, – сказала Телезиппа, – его сердце легко воспламеняется и всегда открыто для всевозможных влияний. Постоянная близость с отрицателями богов сделала его самого неверующим: он презирает все домашние службы богам и терпит их в доме только из-за меня. Ты помнишь как недавно, когда он лежал в лихорадке, ты посоветовала мне надеть

ему на шею амулет: кольцо с вырезанными на нем магическими знаками, или зашитый в кожу кусок пергамента с целебным изречением. Я добыла такой амулет и надела на шею его. Он лежал в полусне и не обратил на это внимания, вскоре пришел один из его друзей, который, увидав амулет на шее Перикла, снял его и бросил в сторону. Когда Перикл очнулся, друг, как рассказал мне раб, бывший в то время в комнате, сказал ему: «Женщина надела тебе на шею амулет, но я, человек просвещенный, снял его с тебя». – «Ты хорошо сделал, отвечал ему Перикл, но я считал бы тебя еще просвещеннее, если бы ты оставил его на мне».

– Это, вероятно, был какой-нибудь из нынешних софистов, – сказала Эльпиника. Я никогда не любила Перикла, да и как могла бы я любить соперника моего дорогого брата, но теперь он сделался для меня отвратительным, с тех пор, как стал игрушкой в руках Фидия, Иктиноса, Калликрата и всех этих, которые сейчас поднимают такой шум и отодвигают на задний план людей, имеющих действительные заслуги. Можешь себе представить, что в то время, когда эти люди работают на вершине Акрополя, благородный Полигнот, этот прекрасный художник, которого так ценил мой брат Кимон, не имеет заказов!

Некоторое время Эльпиника жаловалась на новые порядки, затем встала, чтобы идти. Телезиппа проводила ее до перистиля. Там они обе разговаривали, как обыкновенно разговаривают женщины, которые при прощании не могут найти последнего слова.

Они стояли перед самой дверью, вдруг эта дверь отворилась, и в дом вошел юноша.

При появлении мужчины, обе женщины, по афинскому обычаю, хотели закрыть себе лицо, но не могли пошевелиться от изумления: перед ними стоял юноша замечательной красоты, к тому же, прежде чем Телезиппа успела опомниться, он спросил: дома ли Перикл и может ли принять гостя.

– Моего мужа нет дома, – отвечала Телезиппа.

– Я очень счастлив, что могу приветствовать его супругу, хозяйку дома. Я, – сказал юноша, как будто нарочно делая резкое ударение на имени, – Пазикомб, сын Экзекестида из...

Он не решился сказать «из Милета» так как одного взгляда на обеих женщин, было достаточно, чтобы понять, что название веселого Милета не доставит ему здесь ласкового приема. Наименьшее подозрение мог он возбудить в том случае, если бы явился из строгой своими нравами Спарты... Поэтому он сказал:

– Я, Пазикомб, сын Экзекестида из Спарты. Отец моего отца, Экзекестида, Астрампсикоз был другом отца Перикла.

Когда Эльпиника, принадлежавшая к партии друзей спартанцев, услышала, что юноша из Спарты, она была в восторге.

– Приветствуем тебя, чужестранец, – сказала она, – если ты приходишь из страны добрых нравов. Но кто была твоя мать, если ты, отпрыск суровых спартанцев, родился таким стройным красавцем?

– Да, я не похож на своих единоплеменников, – отвечал юноша, – и в Спарте меня тайно держали в женском платье, но несмотря на мою кажущуюся слабость я не дрожал ни перед кем, кто желал бы помериться со мной силами. Но ничто не помогало – меня постоянно считали за женщину. Это мне надоело и я, чтобы избавиться от насмешек, решил отправиться в чужую страну и возвратиться в суровую Спарту возмужавшим, а до тех пор, я желаю заняться в Афинах искусствами, которые здесь процветают.

– Я познакомлю тебя с благородным Полигнотом, – сказала Эльпиника, – я надеюсь, ты живописец, а не один из тех каменщиков, которыми кишат нынешние Афины?

– Да, я не учился искусству ваяния, – отвечал юноша, – но в живописи, мне кажется, я кое-что понимаю.

– Как понравились тебе Афины? – продолжала Эльпиника, – и понравились ли тебе их обитатели?

– Они понравились бы мне, если бы были все так любезны, как те, с которыми боги дали мне встретиться сейчас в этом доме.

– Юноша, – с восторгом вскричала Эльпиника, – ты делаешь честь своей родине! Ах, если бы наша афинская молодежь была так вежлива и скромна! О, счастливая Спарта! О, счастливые спартанские матери, жены и дочери!

– Правда ли, – спросила Телезиппа, – что спартанские женщины самые прекрасные во всей Элладе, я часто слышала это?

Казалось, этот вопрос не доставил юноше большого удовольствия. Его ноздри слегка вздрогнули, и он не без волнения, хотя небрежным тоном, отвечал:

– Если резкость и грубость форм и женская красота одно и то же, то спартанки первые красавицы, если же изящество и благородство решают вопрос, то первенство следует признать за афинянками.

– Спартанский юноша, – сказала Эльпиника, – ты говоришь, как говорил Полигнот, когда он приехал в Афины с моим братом, Кимоном и просил меня служить моделью для прекраснейшей из дочерей Приама в его картине. Я позировала ему в течение двух недель.

– Ты Эльпиника, сестра Кимона! – вскричал юноша, с удивлением, – Приветствую тебя! О тебе и о твоём брате Кимоне, друге спартанцев, говорил мне мой дед, Астрампсихоз, когда еще ребенком качал меня на коленях и такою, какой он описывал мне тебя, стоишь ты теперь передо мною. Теперь я припоминаю также прекраснейшую из дочерей Приама на картине Полигнота, я видел ее вчера и не знаю чем более восхищаться: тем ли, что картина так верно передает твои черты, или тем, что ты так похожа на эту картину.

У сестры Кимона навернулись слезы на глаза, ее сердце было очаровано: так как говорил с нею этот юноша, с ней никто не говорил вот уже тридцать лет. Эльпиника хотела бы обнять всех спартанцев, но не могла прижать к груди даже этого одного, зато наградила его нежным взглядом.

– Амикла, – сказала жена Перикла, обращаясь к женщине, появившейся в перистиле, – ты видишь перед собою земляка, юноша приехал из Спарты.

Затем, обратившись к юноше, она продолжала:

– Эта женщина была кормилицей маленького Алкивиада, взятого моим супругом в наш дом. Здоровые и сильные спартанки всюду считаются лучшими кормилицами. Мы полюбили Амиклу.

Юноша отвечал насмешливой улыбкой на короткий поклон, которым встретила его полногрудая, краснощекая спартанка. Что касается кормилицы, то она в свою очередь рассматривала его взглядом, в котором выражалось сомнение.

– Удивительно, какого развития достигают формы этих лакедемонянок, – сказала Телезиппа, – глядя вслед удаляющейся спартанке.

– Если бы у нее не было таких полных грудей, – сказал юноша, – то ее можно было бы принять за носильщика тяжестей.

В это время, незамеченный женщинами, в перистиль пробрался Алкивиад. Он смотрел на красивого юношу и слышал его последние слова.

– А как воспитывают спартанских мальчиков? – вдруг спросил он, показываясь из-за колонны и глядя в лицо чужестранцу своими большими, темными глазами.

– Это маленький Алкивиад, сын Кления, – сказала Телезиппа, заметив, что юноша удивлен неожиданным появлением ребенка. – Алкивиад, – продолжала она, обращаясь к мальчику, – не стыди твоих воспитателей, ты видишь перед собой спартанского юношу.

– Мальчики, – сказал юноша, – ходят в Спарте босиком, спят на соломе, никогда не наедаются до сыта, каждый год, на алтаре Артемиды, их секут до крови, чтобы приучить к страданиям; их учат обращаться со всевозможным оружием, учат воровать так, чтобы не быть пой-

манными, зато им не приходится учить азбуку и им строго запрещается мыться чаще, чем раз или два раза в год.

– Какая гадость! – вскричал маленький Алкивиад.

– Затем, – продолжал чужестранец, – они воспитываются в отрядах, в которых младшие всегда имеют старших товарищей, от которых стараются научиться всему полезному, которым подражают во всем и которым преданы душою и телом.

– Если бы мне пришлось быть спартанцем, и я должен был бы выбрать себе такого друга, – сказал мальчик со сверкающими глазами, то я выбрал бы тебя!

Юноша улыбнулся и наклонился к мальчику, чтобы поцеловать его.

В эту минуту на лице Эльпиники, которая до сих пор спокойно стояла около юноши, вдруг появилось недоумение. Она вздрогнула от ужаса и поспешно отвела в сторону Телезиппу.

– О, Зевс и Аполлон, – с дрожью прошептала сестра Кимона, наклоняясь к приятельнице, – я увидела...

– Что ты увидела? – с испугом спросила жена Перикла.

– Когда чужестранец наклонился к мальчику и край хитона слегка приоткрылся я увидела женскую грудь... Это милезианка: отошли мальчика и предоставь мне остальное.

Телезиппа приказала мальчику идти к товарищам, но он не хотел. Телезиппа позвала Амиклу, чтобы та увела упряма.

Когда это было сделано, Эльпиника бросила на свою приятельницу многозначительный взгляд, затем гордо выпрямилась, подошла к чужестранцу и несколько секунд глядела ему прямо в лицо. Юноша сначала старался выдержать взгляд сестры Кимона, но тот смущал его, как преступника, пойманного на месте преступления, и он невольно опустил глаза, тогда Эльпиника прервала тяжелое молчание и ледяным тоном сказала:

– Юноша, любишь ли ты жареных павлинов? У Перикла будет подан сегодня павлин на обед, не желаешь ли ты быть его гостем?

– Да, – сказала в свою очередь Телезиппа насмешливым тоном, – павлин от Пирилампа, павлин, которого купил вчера Перикл. Он хотел подарить его одной развратнице, но теперь предпочитает съесть его изжаренным.

– Юноша! – вставила Эльпиника, – не правда ли то, что утверждали твои товарищи в Спарте, что ты женщина? Представь себе, здесь также есть люди, которые утверждают, что ты не мужчина, а гетера из Милета.

– Презренная, – продолжала между тем Телезиппа, не сдерживая своего гнева, – разве тебе мало того, что ты заманиваешь в свои сети мужчин? Ты прокрадываешься в домашние святилища. Неужели ты не боишься богов, которые с негодованием смотрят на поругательницу святости семейного очага? Как ты еще смеешь глядеть мне в глаза!

– Позови Амиклу, – сказала сестра Кимона, своей раздраженной подруге, – пусть она своими лакедемонянскими кулаками вытолкает в шею этого своего мнимого соотечественника!

– Прежде чем сделать это, – закричала Телезиппа, не помня себя, – я выцарапаю ей глаза, сорву с нее это фальшивое платье.

Так наперебой восклицали обе женщины.

Она же спокойно дала пройти первому взрыву гнева, пока они изумленные ее спокойствием, обе вдруг не замолчали. Тогда милезианка проговорила:

– Теперь, когда вы истомили первый порыв гнева и выпустили самые ядовитые стрелы, я отвечу вам. Скажи мне, Телезиппа, почему так позоришь ты меня в доме своего супруга великого Перикла? Скажи, что похитила я у тебя: твоих домашних богов? твоих детей? твою добрую славу? твою добродетель? твое имущество? твои украшения? Ничего подобного! Я смогла отнять у тебя только то, чем, по-видимому, ты дорожишь менее всего, чем ты, в сущности, никогда даже не обладала, что приобрести и удержать никогда серьезно не стремилась – любовь твоего супруга. И если бы, в действительности, твой супруг любил меня, а тебя нет, то

разве это была бы моя вина? Нет – твоя. Разве я для того приехала в Афины, чтобы заставлять афинян любить своих жен? Мне кажется, гораздо легче учить афинских женщин, как приобретать любовь мужей. Вы, афинские жены, скрывающиеся в глубине женских покоев, вы не знаете искусства покорять сердца мужчин, и вы сердитесь на нас за то, что мы умеем делать это. Но разве это преступление? Нет – преступление не уметь этого. Что значит быть любимой? Это значит нравиться. Если ты желаешь быть любимой, умей нравиться. А когда нравится женщина? Прежде всего тогда, когда желает этого. Чем она должна стараться нравиться? Всем, что только может нравиться и прежде всего должна уметь быть любезной, но в то же время женщина не должна чересчур ухаживать за мужчиной. Если она делает вид, что слишком дорожит его любовью, то, сначала он гордится, а кончается тем, что начинает скучать, а скука – это могила семейного счастья, могила любви. Мужчина может сердиться, браниться, проклинать, он не должен только одного – скучать. Ты, Телезиппа, делаешь слишком мало и слишком много, слишком мало потому, что ты отдала мужу только свое тело, и слишком много, так как отдала ему все, что обещала. Женщина должна быть в доме чем угодно, но только не супругой, так как Гименей смертельный враг Эрота. Женщина должна казаться каждый день чем-нибудь новым и высшее искусство ее должно заключаться в том, чтобы вечером опускаться на ложе невестой, а утром снова вставать с него девой. Вот закон искусства нравиться, следуй же ему, если хочешь и если можешь, если же нет, то покоришься своей судьбе и пожинай то, что сама посеяла.

– Можешь оставить себе мудрость твоего постыдного искусства, – презрительно проговорила Телезиппа, – тебе оно может пригодиться. Не думаешь ли ты учить меня, как приобрести расположение мужа, меня, которую хотел взять в супруги архонт Базилий? Чего думаешь ты достигнуть всеми твоими ухищрениями? Ты можешь вовлечь моего мужа в тайный постыдный союз; но ты останешься чужой его дому, его домашнему очагу, и даже, если бы он оттолкнул меня, ты не могла бы сделаться его полноправной женой: ты не можешь родить ему законного наследника, так как ты чужестранка, а не афинянка. Будет ли мой муж влюблен в меня или нет, я все равно остаюсь хозяйкой его дома, а ты – посторонней, я говорю тебе: «ступай вон» и ты должна повиноваться.

– Я повинуюсь и ухожу, – отвечала Аспазия. – Мы с тобой поделились, – прибавила она резким тоном: тебе – его дом и домашний очаг, мне – его сердце, каждый будет владеть своим. Прощай, Телезиппа!

С этими словами Аспазия удалилась. Телезиппа снова осталась вдвоем с Эльпиникой, которая одобряла гордость своей подруги, восхищалась ответом, данным ею чужестранке. После непродолжительного разговора, наконец, удалилась и она, а жена Перикла занялась домашними делами.

Целый день маленький Алкивиад говорил о своем спартанском друге, к досаде честной Амиклы, которая качала головой и говорила:

– Этот юноша никогда не был воспитан в Спарте.

Телезиппа запретила обоим вспоминать о чужестранце в присутствии Перикла. Между тем, наступило, наконец, время обеда. Перикл возвратился и сел за стол вместе со своим семейством. Он ел приготовленное кушанье, отвечал на вопросы маленького Алкивиادا и двух своих сыновей, часто обращаясь с каким-нибудь словом к Телезиппе, несмотря на то, что она была погружена в мрачное молчание.

Перикл любил видеть вокруг себя веселые лица; недовольное молчание ему было неприятно. Наконец ему подали новое кушанье, это был изжаренный павлин.

Перикл бросил удивленный взгляд на птицу.

– Что это такое? – спросил он.

– Это павлин, который по твоему приказанию был принесен сегодня утром в дом, – отвечала Телезиппа.

Перикл замолчал и после непродолжительного раздумья, в течении которого он старался объяснить себе, как могло произойти, что павлин попал в его дом, он снова обратился к Телезиппе.

– Кто тебе сказал, что я хотел изжарить эту птицу?

– Так что же с ней делать? – недоуменно спросила Телезиппа. – Чтобы кормить такую большую птицу наш птичий двор не достаточно велик, поэтому я и думала, что ты желаешь изжарить ее. Она очень вкусна и хорошо зажарена, попробуй кусочек.

Говоря это, она положила на тарелку мужа довольно большой кусок павлина.

Перикл, которого народ называл олимпийцем, Перикл, победоносный полководец, знаменитый оратор, человек, управляющий судьбами Афин, умевший с достоинством руководить непостоянной толпой своих сограждан, опустил глаза перед куском павлина, положенным на его тарелку Телезиппой. Но он быстро овладел собой и поднялся, говоря, что чувствует себя не совсем здоровым, и с этими словами хотел удалиться в свою комнату, но в эту минуту маленький Алкивиад закричал:

– Амикла, старая дура, говорит, что мой спартанский друг никогда не был в Спарте!

При этом упоминании о спартанском друге, Перикл вопросительно поглядел сначала на мальчика, потом на Телезиппу.

– О каком спартанском друге ты говоришь? – спросил он.

Ни мальчик, ни Телезиппа не отвечали ему ни слова, тогда он оставил столовую, но Телезиппа последовала за ним. На пороге внутренних покоев она тихо, но резко, сказала мужу:

– Запрети милезийской развратнице посещать тебя здесь, в твоём доме, иначе она развратит и мальчика. Отдай этой развратнице твоё сердце, Перикл, если хочешь, но твой дом, твой домашний очаг, спаси от нее; следуй за ней куда хочешь, но здесь, в этом доме, у этого очага, я сохраняю мои права, – здесь хозяйка я, я одна!

Перикл был странно взволнован тоном этих слов: в них звучало не горе оскорбленного женского сердца, а оскорбленная холодная гордость хозяйки дома, поэтому он также холодно отвечал на холодный взгляд жены и спокойно сказал:

– Пусть будет так, как ты говоришь, Телезиппа.

В тот же самый день к Периклу явился раб с письмом. Перикл развернул его и прочел следующие строки, написанные рукой Аспазии:

«Я оставила дом Гиппоникоса; мне нужно многое сообщить тебе. Посети меня, если можешь в доме милезианки Агаристы».

Перикл написал ей:

– Приходи завтра утром в деревенский дом поэта Софокла, на берегу Кефиса – ты найдешь меня там. Приходи переодетая, или же, если не хочешь, то прикажи принести тебя туда в носилках.

Глава V

Недалеко от дороги, идущей из Афин, на берегу Кефиса виднелся дом, окруженный столетними, высокими кипарисами и платанами. Еще ближе к воде стояла маленькая беседка, возле которой росли розы. В этой беседке несмотря на близость города, можно было наслаждаться полным уединением и спокойствием. Вступая в этот блаженный уголок, казалось, что бог Пан сейчас выйдет к вам навстречу из прохладной тени деревьев или прелестные наяды вынырнут из волн Кефиса.

Ветер шелестел листьями деревьев, которые вздрагивали под ясным эллинским небом точно от дыхания бога веселья, Диониса. В этом чудном месте жил любимец муз, Софокл, здесь он родился и здесь же, под белыми памятниками, увитыми плющом и украшенными цветами, покоились его предки.

Как-то утром он сидел в беседке, на коленях у него лежали восковые дощечки, на которых он писал время от времени стихи, порой разглаживая воск и уничтожая написанное.

Бросив взгляд на дорогу, шедшую по долине, он увидел стройную фигуру, двигавшуюся быстрыми и легкими шагами.

Скоро путник подошел ближе и поэт узнал Перикла. Он поспешно встал и радостно пошел к нему навстречу.

Перикл крепко пожал ему руку.

– Ты меня приглашал, – сказал он, – и сегодня я твой гость. Музыкант из Милета – ты без сомнения не забыл о нем – также придет провести с нами день, если ты согласен: мне нужно о многом поговорить с ним, и здесь я могу сделать это без всякой помехи.

– Прелестный юноша из Милета придет ко мне! – радостно вскричал Софокл. – Недаром я думал, глядя на твою походку, что тебя должно воодушевлять что-нибудь приятное, твои манеры не напоминали спокойного достоинства оратора на Пниксе, я едва узнал тебя.

В это время перед домом Софокла остановились носилки. Из них вышла Аспазия. Она была в женском платье.

Софокл приветствовал ее и повел к Периклу под освежающую тень.

Скрытая от нескромных глаз, Аспазия отбросила покрывало, спущенное на лицо и закрывавшее ее с головы до плеч и осталась в светлом, ярком хитоне с одной ярко-красной лентой на голове, которой поддерживались волосы. В руках она держала маленький, красивый зонтик для защиты от солнца, а на поясе висело плоское, сложенное пестрое опахало.

Софокл в первый раз видел Аспизию в женском наряде, с его губ сорвалось восклицание восхищения этой женщиной.

– Полюбуйся, Аспазия, – сказал Софокл, – на окружающую тебя природу. Здесь вы можете сколько угодно наслаждаться уединением вдвоем. Но если вы желаете видеть самое благословенное музами и харитами место, то идите за мною.

Перикл и Аспазия последовали за поэтом. Он повел их до того места, где Кефис делает поворот. Там и сям попадались маленькие дерновые скамьи, на которых можно было отдохнуть и помечтать. Здесь же был маленький грот в скале, вход в который был почти скрыт цветущими кустами.

При виде этого очаровательного грота, Аспазия была восхищена и охотно приняла приглашение отдохнуть. Перикл и сам поэт последовали ее примеру.

– Тяжело, – начал Перикл, после непродолжительного молчания, – тяжело возвращаться из этого спокойствия и тишины к делам. А между тем, Аспазия, мы должны помнить о людях, от которых бежали сюда. Представь себе человека, которому, как говорится в предании, подали угощение из его собственных детей – я могу вполне представить себе его ужас, когда он увидел, хотя и не столь ужасную, но все-таки неприятную картину зажаренной прекрасной птицы,

которая, как я предполагал в ту минуту, радуется своим видом прелестную Аспазию, которая видит в ней Аргуса, присланного возлюбленным, чтобы вместо него наблюдать за нею своею сотнею любящих глаз. Аспазия, что произошло? Почему павлин оказался у меня в доме? – спросил Перикл.

В ответ Аспазия рассказала о своих злоключениях, случившихся с ней вчера.

– Как странно, – закончила свой рассказ Аспазия, – вы, афиняне, не хозяева у себя в доме... Вы делаете женщину рабынями, а затем объявляете себя их рабами.

– Таков брак! – сказал, пожимая плечами, Перикл.

– Если, действительно, таков брак, – возразила Аспазия, то может быть было бы лучше, если бы на земле совсем не было брака.

– Властительница сердца выбирается по любви, – сказал Перикл, – но супруга и хозяйка дома всегда будет женой по закону...

– По закону? – удивилась Аспазия. – Я всегда думала, что только материнство делает любимую женщину супругой и что брак начинается только тогда, когда является ребенок.

– Только не по афинским законам, – возразил Перикл.

– В таком случае, измените ваши законы, – воскликнула Аспазия.

– Любимец богов, Софокл, – сказал Перикл, – помоги мне образумить эту негодующую красавицу, чтобы она не разорвала своими маленькими, прекрасными ручками всех наших государственных законов!

– Я не могу поверить, – возразил поэт, – что Аспазия оставит благоразумие. Уверен, что она знает, что, предпринимая борьбу против чего бы то ни было, прежде всего нужно соизмерить свои силы.

– Ты хочешь сказать, – перебила Аспазия поэта, – что в Афинах чужестранки не должны бороться против законов, которые лишают их прав...

– Нашему другу, – заметил Перикл, – может быть легко судить о мужьях и устанавливать мудрые правила об их поведении, так как никакая Телезиппа не может угрожать его Аспазии.

– Так бывает со всяким посредником влюбленных, – смеясь сказал Софокл, – со всяким, кто хотя бы даже и по их просьбе вмешивается в их дела. Мне грозит быть осмеянным вами, если я вздумая давать вам советы и чтобы наказать себя за подобную попытку, я сейчас же предоставлю вас вашей собственной мудрости и прощусь с вами на короткое время, чтобы вы вдвоем могли хорошенько обсудить ваши дела. А я позабочусь об обеде и если несколько замешкаюсь, то знайте, что меня нигде не ждет никакая Аспазия, а что я просто забылся с восковой дощечкой в руках, подслушивая жалобные вздохи благородной дочери Эдипа.

– Ты должно быть продолжаешь то произведение, о котором упоминал на Акрополе? – спросила Аспазия.

– Половина уже окончена и я сижу целые дни, переводя мое произведение с восковых дощечек на папирус.

– Не дашь ли ты нам с ним познакомиться хоть немного? – спросил Перикл.

– Ваше время так дорого, – ответил поэт и попрощался.

Перикл сорвал с яблони зрелое прелестное яблоко, Аспазия откусила от него и подала Периклу, который благодарил ее счастливой улыбкой, так как ему было неизвестно, что значит на языке любви подобный подарок. Затем Аспазия сплела венок и надела на голову Периклу. Они обсудили как Аспазия должна устроиться, затем, как сделать, чтобы видиться по возможности чаще и, так как влюбленные ни о чем так не любят говорить, как о своей первой встрече, то вспоминали о том, как они первый раз увиделись в гавани в доме Фидия.

Вскоре появился Софокл, чтобы пригласить их перекусить и повел в изящно отделанный домик в центре сада.

Афиняне принимали пищу полулежа опираясь на левую руку. Блюда ставили на маленькие столики, для каждого блюда был свой столик.

– Надеюсь, Софокл, – смеясь, сказала Аспазия, – ты не угощаешь нас жареными соловьями, хотя в городе, где не боятся жарить павлинов, соловьи также могут попасть на жаркое.

– Не оскорбляй из-за одной святотатственной руки весь афинский народ! – воскликнул Софокл.

– Та женщина, – усмехнулась Аспазия, – которая была способна убить павлина, заслуживает быть изгнанной из Эллады. Гнев греческих богов должен был бы разразиться над нею, так как она согрешила против того, что есть самое священное на свете – против прекрасного.

– Если поверить нашей прекрасной, мудрой Аспазии, – сказал Перикл, обращаясь к Софоклу, – прекрасное выше всего в свете: его первая и последняя добродетель.

– Эта мысль мне нравится, – согласился поэт, – хотя я и не знаю, что сказал бы о ней Анаксагор и другие. Но думаю, никто не станет отрицать власти красоты, которую она имеет над сердцами людей через любовь. Как раз сегодня утром, чтобы доказать непреодолимое могущество любви, я прибавил одну сцену, в которой заставляю Гемона, сына царя Креона, добровольно сойти в Гадес, чтобы не разлучаться со своей возлюбленной невестой, Антигоной...

– Это уж слишком! – заявила Аспазия несколько раздосадованному поэту, который рассчитывал заслужить ее похвалу, – поэты не должны показывать любовь с такой мрачной стороны – любовь ясна и светла и должна всегда быть такою. Любовь – это не страсть, заставляющая спускаться в Гадес. Любовь должна радовать людей жизнью, а не смертью. Мрачная страсть не должна называться любовью, она – болезнь, она – рабство...

– Ты права, Аспазия, – согласился Софокл, – и ты, и я, и Перикл, мы всегда будем поклоняться только свободной ясной любви и, если тебе угодно, то сегодня принесем жертву богам, чтобы священный огонь никогда не погас у нас в груди. Я хотел показать, что Эрот могущественный бог, но в то же время желаю от всего сердца, чтобы он никогда не возымел всего своего могущества ни над одним эллином. Красота – это великая и таинственная сила. Если ты хочешь, я готов перед всей Элладой заставить хор петь эти слова в будущей моей трагедии. Настолько твое присутствие дает мне вдохновение как можно лучше закончить эту песнь в честь Эрота. Вы не должны уходить отсюда до тех пор, пока я не напишу гимна. А теперь, – прибавил Софокл, – простите меня, что я не услаждаю вашего зрения и слуха танцовщицами и музыкантами, но мне кажется, мои гости вполне удовлетворяют друг друга и кроме того, кто осмелился бы играть на цитре перед прекрасным музыкантом из Милета?

– Прежде всего ты сам, – воскликнул Перикл, – тем более, что ты предлагал устроить состязание в музыке и пении, когда мы еще были на Акрополе. Принеси сюда инструменты, Софокл, для себя и для Аспазии, а затем начните состязание, в котором я буду судьей и единственным слушателем.

– Удовольствие слышать пение и игру Аспазии вполне вознаградит меня за поражение, – смиренно ответил Софокл и вскоре принес две цитры, прося Аспазию выбрать себе инструмент.

Красавица провела пальцами по струнам, кивнула одобрительно, затем прелестная милезианка и любезный хозяин начали состязание, но Перикл не мог отдать преимущества ни одному из них. Когда пение кончилось, поэт и милезианка заговорили о музыке, и Аспазия показала такие познания в дорийских, фригийских и лидийских стихосложениях, что Перикл с изумлением воскликнул:

– Скажи мне, Аспазия, как имя человека, который может похвалиться тем, что был наставником твоей юности?

– Ты узнаешь это, – отвечала Аспазия, – когда я со временем расскажу тебе историю моей юности.

– Отчего же до сих пор ты никогда не рассказывала о ней? – спросил Перикл. – Как долго еще ты будешь молчать о себе? Расскажи нам о своей жизни, Софокл наш друг, тебе нет надобности скрывать от него что бы то ни было.

– Нет, – сказал Софокл, – как ни приятно было бы мне выслушать историю юности Аспазии, но я боюсь, что если тебе придется делить удовольствие, которое ты будешь испытывать, слушая ее рассказ, с кем-нибудь другим, то оно будет для тебя менее сладостным, чем если бы ты выслушал его наедине. Кроме того, я припоминаю, что обещал не отпускать вас до тех пор, пока не сочиню гимна для хора в честь Эрота, поэтому я должен снова удалиться и предоставить вас друг другу. Мне кажется, что если я буду сочинять гимн в то время, как у меня скрывается влюбленная пара, то этим заслужу расположение бога любви и он вдохновит меня.

Перикл и Аспазия снова остались в очаровательном благоухании и одиночестве сада, еще возбужденные веселым разговором, прекрасным вином и музыкой. Прогуливаясь, влюбленные опять вошли в увитый плющом грот, у подножия которого катились тихие волны Кефиса и где было прохладно даже во время полуденной жары.

Перикл вновь попросил Аспазию рассказать о ее юности.

– Ты знаешь, – сказала она, смеясь, – я недостаточно стара, чтобы мой рассказ был длинным и полным приключений, но ты имеешь право спрашивать о моем прошлом. Человека, которому я обязана моими знаниями в искусстве музыки звали Филимоном. Добрый Филимон! Я не думаю, чтобы когда-нибудь еще смогу жить, в таком блаженном мире, как с ним: он не обращал никакого внимания на мой пол, точно также как и я на его. Ему было восемьдесят, а мне десять, правда он казался на четверть моложе, а я на четверть старше.

После смерти моих родителей он взял меня к себе, как друг отца. Он был самый ученый, самый мудрый и самый веселый старик во всем Милете. Я была в восхищении от его снежно-белой бороды и его ясных глаз, в которых как мне казалось, светилась мудрость всего света, от его лир и цитр, от его книжных свитков, от мраморных статуй в его доме, от чудных цветов в его саду. И он меня любил. С той минуты, как я попала к нему в дом, с губ его не сходила улыбка, такая улыбка какой я, ни до тех пор, ни после, не видела ни на одном лице.

Пять лет жила я среди благоухания роз, которыми украшал этот божественный старец свои вазы, наслаждалась ясностью его умных глаз и мудростью его речей, играла на его лирах и цитрах, развешивала, с пылающими щеками его исписанные свитки, наслаждалась зрелищем его статуй, ухаживала за цветами его сада. Мир поэзии и звуков снова ожил для него самого, так как он снова увидел его глазами ребенка. Он говорил, что, прожив восемьдесят лет, понял многие из своих книг только тогда, когда ему прочла их я.

Когда он умер, милезийцы называли меня прелестнейшей девушкой и я в первый раз посмотрелась в зеркало. Жизнь богатого города окружила меня, но я была недовольна. С книгами Филимона и его мраморными статуями я была весела, окруженная поклонниками я сделалась серьезна, задумчива, упряма, капризна и требовательна; мне чего-то недоставало. Жители Милета не нравились мне. Они восхищались мною, я же презирала их.

После смерти Филимона, я осталась сиротой, бедной и неопытной. В это время меня увидел один перс и сейчас же составил план отвезти в Персеполис всеми расхваливаемую милезианку и представить ее царю. Мое глупое, неопытное сердце воспламенилось, я думала о моей соотечественнице – Фаргилии, которая сделалась супругой фессалийского царя. Персидский царь, этот могущественный властитель, волновал мое сердце и казался мне воплощением всего мужественного, прекрасного, возвышенного, могущественного и достойного любви. Воспитываясь у Филимона, я была умным ребенком – выросши и превратившись в девушку, я сделалась глупой.

По приезде в Персию, меня раздели в богатое платье и повели к царю. Окруженный восточным великолепием, сидел властитель Персии, но у него было лицо самого обыкновенного человека. Он поглядел на меня ленивыми глазами деспота, потом с сонным видом, протянул руку, чтобы ощупать меня, как какой-нибудь товар. Это меня возмутило. Слезы досады выступили у меня на глазах, но персу это понравилось и он улыбнулся сонной улыбкой. Однако, с этой минуты, он щадил меня и говорил, что гордость гречанки нравится ему больше рабской

покорности своих женщин. Прошло немного времени, и сердце деспота запылало ко мне любовью, я же чувствовала только страх; скучной и невыносимой казалась мне персидская жизнь. Восточное великолепие было мне чуждо и пугало меня; то очарование, которым вначале моя фантазия окружила царя, рассеялось. Холодный ужас охватывал меня при виде храмов и идолов чужестранцев, мне страстно хотелось возвратиться назад, к богам Эллады. В скором времени я убежала.

Свободно вздохнула я, ступив на родную землю, увидев перед собою греческое море. Сопровождаемая верной рабыней, я отправилась отыскивать в милетской гавани корабль, который мог бы отвезти меня в Элладу. Я нашла одного капитана, который был согласен отвезти меня в Мегару. Оттуда я могла легко доехать до Афин, которые давно притягивали мою душу.

Приехав в Мегару, я оказалась одна, не зная что делать. Пожилой капитан, привезший меня, пригласил к себе в дом, обещая через несколько дней отправить в Афины. Я приняла его приглашение, он же каждый день откладывал мой отъезд и, наконец, я заметила, что он хотел бы навсегда удержать меня у себя в доме. Вскоре я увидела, что его подрастающий сын также влюбился в меня, и я стала предметом преследований двоих влюбленных. Эти глупцы воображали, что я для них убежала от персидского царя! Жена капитана сразу отнеслась ко мне недружелюбно и мучила меня своею ревностью. Я оказалась окруженной фуриями, раздраженные страсти которых угрожали мне со всех сторон; жене пришлось в голову выставить меня горожанам, как соблазнительницу, как нарушительницу семейного мира, и так как оба мужчины были раздражены моим нежеланием остаться, то они не только не мешали ей, но, из мести, поддерживали ее. Труд их увенчался успехом. Я была окружена людьми дорийского происхождения, не любящими ионийцев и стремящимися во что бы то ни стало, вблизи могущественных Афин, строго сохранять свои спартанские нравы и обычаи.

На мои настойчивые требования они, наконец, как будто согласились отпустить меня. К моим услугам предоставлен был мул и носилки для меня и моей рабыни, но когда я вышла из дома мегарца, то увидела, собравшуюся на улице толпу, встретившую меня насмешками и бранью. Мегарцам было достаточно узнать, что я милезианка, чтобы начать ненавидеть меня и преследовать со слепой яростью. Не знаю, какое мужество, какая гордость воодушевили меня, но только, услышав угрозы и брань дорийцев я, высоко подняв голову, вошла в толпу, сопровождаемая дрожащей рабыней. Передние, отступившие было снова придвинулись вперед напавшими сзади и я очутилась в толпе бранивших и позоривших меня людей, которые с угрозами хватали меня за руки и платье. В эту минуту на дороге появился запряженный лошадьми экипаж, в нем сидел человек с добродушным лицом. Он ехал окруженный рабами. Увидав меня среди толпы, этот человек остановил экипаж и приказал своим рабам освободить меня, через мгновения я уже сидела рядом с ним и навсегда оставила проклятую Мегару.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.